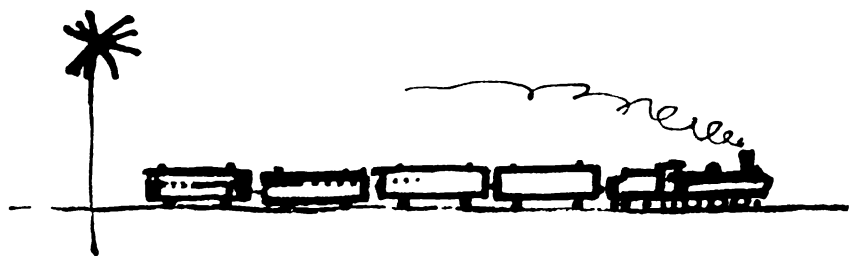






Путешествия Приключения Фантастика





ГРЭМ
ГРИН
ПУТЕШЕСТВИЕ
БЕЗ КАРТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1961

GRAHAM GREENE

JOURNEY WITHOUT MAPS

London, 1955

Перевод с английского

Е. М. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. Р. ИЗАКОВА

Вступительная статья В. В. МАЕВСКОГО

Один из крупнейших современных английских писателей Грэм Грин, автор широко известных советскому читателю романов «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване», накануне второй мировой войны совершил увлекательное путешествие по ряду стран Африки.

Вместе со своим спутником он прошел пешком через девственные леса по неизведанным тропам, побывал в селениях, не нанесенных на карту. Перед путешественниками открылись яркие картины жизни Африки — порой глаза европейцев видели их впервые. Описывая трудности и превратности своего пути, Грэм Грин основное внимание уделяет людям, с которыми ему довелось встретиться. «Что поразило меня в Африке,— пишет он,— так это то, что она ни на секунду не казалась мне чужой... «Душа черного мира» близка нам всем». Вот вывод, который он принес из своих странствий,— и это вывод всей его книги.

Книга Грэма Грина «Путешествие без карты» очень своеобразное литературное произведение. В ней соединились интересный дневник путешественника с тонкими зарисовками подлинного художника слова.

Оформление художника *М. П. КЛЯЧКО*

ПРЕОБРАЖЕНИЕ АФРИКИ

Советский читатель знает Грэма Грина по романам «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване». Талантливый английский писатель привлек симпатии правдивым показом закулисных сторон того «свободного мира», где человек человеку волк, где плетутся заговоры против мира и судьбы людей становятся игрушкой в руках большого бизнеса.

В буржуазной литературе Запада Грэм Грин — одна из самых крупных фигур. Конечно, его подход ко многим фактам современной действительности не совпадает с нашим. Но тем больший интерес представляют для нас творческие поиски Грина, его беспощадный реализм. Он резко отличает Грина от многих зарубежных писателей, погрязших в тине декадентства под вывеской того или иного «изма».

Книга, которая лежит перед вами, не похожа на знакомые нам романы Грина. Но, быть может, именно в ней следует искать начало и «Тихого американца» и «Нашего человека в Гаване».

Это записки о путешествии в глубь африканского континента. Оно было предпринято Грином в конце тридцатых годов, когда Европа и Азия быстро катились к трагедии второй мировой войны, первые залпы которой уже прогремели в Африке — в Абиссинии (Эфиопии).

Автор назвал записки «Путешествием без карты», и в этом названии глубокий смысл. Что представляла собой карта Африки двадцать лет назад? Она пестрела разными красками, но это были цвета Англии, Франции, Бельгии, Португалии, Италии и других колониальных держав.

Карту великого континента можно было закрасить одним цветом, если бы он существовал,— цветом рабства, горя и слез.

То были годы, когда казалось, что время пошло вспять. Египет был под полным контролем английских колонизаторов. Независимую Эфиопию уже топтал башмак итальянских захватчиков. Смешно было считать независимым государством Южно-Африканский Союз — это была (и все еще остается!) тюрьма африканских народов с белыми надзирателями. Независимой числилась лишь Либерия — небольшое государство в Западной Африке, созданное при покровительстве США.

Вот в эти-то годы и отправился Грэм Грин в Африку. Говоря о тех настроениях, которые влекли его из Европы, замершей в испуге перед роковыми событиями, в неведомую Африку, Грин пишет: «Сегодня наш мир как-то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ? Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга,— тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути».

Покинув тесные причалы Ливерпуля, мы вместе с автором отправляемся в далекое путешествие. Огибаем Западное побережье Африки, ненадолго останавливаемся во Фритауне — столице британской колонии Сьерра-Леоне, путешествуем до границы бывшей Французской Гвинеи, совершаем прогулку по гвинейской земле, пробираемся пешком через дебри Западной Либерии, приходим в либерийскую столицу — Монровию.

Перед нами открывается новый, неведомый мир. Непроходимые тропические леса и кустарники, бурные реки, черные африканские ночи — Грин с большим мастерством дает почувствовать экзотическую природу Африки. Это не лубочная экзотика — приправа к давно надоевшим блюдам, какими потчуют некоторые писатели Запада своих читателей. Нет, в повествовании Грина природа неразрывно связана с жизнью человека, в центре книги — человеческие отношения.

Автор не говорит о колониализме. Но реализм Грина

заставляет его на каждом шагу вскрывать язвы колониального рабства.

С первого знакомства Африка поражает его «обаянием человечности и сонной красоты», «безмятежной и беззаботной радостью». Но он тут же вспоминает о том, как мрут молодые африканцы в Дакаре — этом «городе отчаяния и несправедливости», как «цивилизация», принесенная из Европы и Америки, убивает все человеческое, растлеивает душу.

Во Фритауне, так же как и в Сингапуре, Калькутте, Дели, Бомбее и других городах Азии и Африки, где ступала нога колонизатора, пришельцы старались замкнуться в своем недоступном мире, отделиться от народа. «Насадив свою жалкую цивилизацию,— пишет Грин,— белые люди сбежали от нее как можно дальше. Все, что было уродливого во Фритауне, принадлежало Европе — лавки, церкви, правительственные учреждения, обе гостиницы. Все, что здесь было красивого, принадлежало Африке...»

Скупое, но ярко рисует Грин убогий мир белых «цивилизаторов» на африканском континенте. Беспробудное пьянство, тупой разврат, бессмысленная жестокость — вот характерные черты и английских, и французских, и американских «комиссаров» и «советников». Чего стоит, например, самодур «Папаша» во Фритауне или авантюрист полковник Дэвис — «диктатор Гран-Басе». Конечно, и среди белых в Африке попадаются порядочные люди, но автор не скрывает того, что они составляют меньшинство.

В описании колониальной администрации и ее «столпов» уже чувствуется та сатирическая манера Грина, которая дает себя знать в полную силу позже, особенно в романе «Наш человек в Гаване». А рядом — согретые теплым юмором и лиризмом картины быта африканских селений, портреты африканцев: проводников, носильщиков, местных жителей. В отношении автора к простым людям иной раз можно уловить нотки превосходства, но в целом это отношение пронизано глубокой симпатией и участием.

Заключая свое «Путешествие без карты», Грин пишет: «Что поразило меня в Африке, так это то, что она ни секунды не казалась мне чужой. Гибралтар и Танжер — эти протянутые друг к другу и только что разомкнувшиеся руки — теперь, больше, чем когда бы то ни было,

символизируют противоестественный разрыв: «Душа черного мира» близка нам всем...»

Грин по-своему понял «душу» Африки. Он увидел в ней «невинность», «девственную чистоту», к которой нужно вернуться, чтобы очиститься от скверны растленной цивилизации Западной Европы и Америки.

Грин не смог увидеть и понять подлинную «душу черного мира» — борьбу за освобождение. Быть может, этому помешала мрачная обстановка конца тридцатых годов, когда гитлеровская тирания вынуждала представителей западноевропейской интеллигенции думать не столько о будущем Африки, сколько о будущем Европы. Быть может, сыграли свою роль особенности мировоззрения Грэма Грина.

Два десятилетия, прошедших со времени путешествия Грина в Африку, были полны бурных событий.

Победа над гитлеризмом и японским милитаризмом во второй мировой войне, одержанная при решающей роли Советского Союза, ускорила бурный процесс распада колониальной системы империализма, начатый Великим Октябрем.

Первая половина XX столетия завершилась крушением колониализма в Азии.

Вторая половина XX века началась быстрым крушением колониальных порядков в Африке.

В 1950 году на африканском континенте было всего лишь три независимых страны, не считая Южно-Африканского Союза, — Эфиопия, Египет, Либерия. С тех пор национальную независимость обрели Судан, Ливия, Тунис, Марокко, Гана, Гвинейская Республика (та самая «Французская» Гвинея, в которой побывал Грин), Камерун и Того, находившиеся под опекой Франции.

Империалистические поработители считали «Черный континент» самым прочным бастионом колониализма. Но Африка поднялась с колен, она расправляет свои могучие плечи, разрывает кандалы.

С оружием в руках сражается за свободу героический алжирский народ. Горит земля под ногами бельгийских колонизаторов: народ Конго поднялся на борьбу, которая приобретает все более широкий размах. Требование независимости, выдвинутое конголезцами, подхвачено в соседней Руанда-Урунди — подопечной территории Бельгии.

Ареной больших событий стали английские колонии. Народ Ньясаленда, искусственно пристегнутого к Родезии под вывеской так называемой «Федерации Центральной Африки», потребовал выхода из федерации и предоставления независимости. В Северной и Южной Родезии, Уганде, Танганьике нарастает борьба за освобождение. Многострадальный народ Кении не сломлен ни репрессиями, ни посулами колонизаторов: он требует независимости решительнее, чем когда бы то ни было.

Могучий поток национально-освободительной борьбы докатился до португальских колоний Анголы и Мозамбика, вот уже пять веков стонущих под игом колониального рабства. С каждым днем активнее становятся выступления южноафриканского народа против расистского режима.

Повсюду на африканском континенте — от Алжира до Южно-Африканского Союза, от Мавритании до Сомали — подхвачен лозунг, выдвинутый первой конференцией народов Африки: «Независимость при жизни нашего поколения!»

Под напором неодолимого национально-освободительного движения колонизаторы вынуждены декларировать независимость Нигерии, Сомали, Конго и других стран в 1960 году. Они сулят «самоуправление», избирательное право, «демократические институты» другим колониям. Они заявляют, что действуют «добровольно», надеясь, что эхо щедрых посулов заглушит протест народов.

Но народы Африки знают цену щедрости империалистов. Те, кто «добровольно» обещают независимость Нигерии, расстреливают мирных жителей в Ньясаленде и Кении. Те, кто «даруют» независимость Того, погубили сотни тысяч алжирцев. Те, кто обещают «свой парламент» Конго, ежегодно бросают в тюрьмы 200 тысяч конголезцев.

Колонизаторы ничего не отдают добровольно. Все, что народам удается вырвать у них, — результат непреклонной и беспощадной борьбы.

Грабеж Африки был и остается источником сказочного обогащения английских, французских, бельгийских, португальских, американских, западногерманских и других монополий.

Острое соперничество между империалистическими державами сочетается с попытками создания системы

«коллективного колониализма», объединения усилий всех колонизаторов против национально-освободительного движения в Африке.

Во всех этих затеях первостепенную роль играют империалистические круги США. Американский капитал устремился на африканский континент. За последние пятнадцать лет американские капиталовложения в Африке увеличились в десять раз и составляют примерно 2 миллиарда долларов.

Надо отдать должное Грэму Грину: не обеляя своих соотечественников-англичан, он сумел вскрыть подноготную американских «благодеяний» в Африке. Сцены американского хозяйничанья в Либерии — это хорошая иллюстрация того, как империализм топчет «душу черного мира».

Рассказывая о судьбе негров, вывезенных сначала из Африки в США, а затем из США в Африку, где создавалось новое государство — Либерия, Грин пишет: «В прошлом столетии Англия и Франция отняли у них часть земель; Америка поступила еще хуже, предоставив им заем. Не имея никаких источников дохода, кроме того, что можно было выжать из враждебно настроенных жителей девственных областей страны, они вынуждены были все больше и больше влезать в долги... Последний заем и последняя концессия компании Файрстон из Огайо чуть было не лишили страну самостоятельности и не отдали ее на откуп этой фирме, которую в Либерии интересуют только каучук и прибыли».

В обмен на заем фирма Файрстон получила миллион акров либерийской земли сроком на 99 лет, расширила каучуковые плантации, применяя принудительный труд. Грин пишет: «Оплата рабочих на плантациях компании Файрстон — хотя она все же выше тех ставок, которые английское правительство установило в Сьерра-Леоне, не может принести благосостояния либерийским племенам...»

То, что двадцать лет назад было характерным для Либерии, становится ныне характерным для некоторых других африканских стран, куда двинулся американский капитал.

Американские нефтяные короли Рокфеллеры сочли, что в их короне не хватает африканской жемчужины. Дэвид Рокфеллер совершил путешествие в Южно-Афри-

канский Союз, Бельгийское Конго, Эфиопию, Нигерию, Гану. Он открывал отделения «Чейз Манхэттен бэнк» и сулил долларовую помощь. Рокфеллеровская «Стандарт ойл» двинулась в наступление на нефть Сахары и Ливии.

Африканские народы не могут не видеть, что на смену империалистическим монополиям Англии, Франции, Бельгии приходят империалистические монополии США. И народы «Черного континента» еще настойчивее повторяют требование: «Империалисты, вон из Африки!»

Независимые страны Африки идут в авангарде борьбы против империализма. Их первые успехи в создании самостоятельной экономики, в развитии национальной культуры — сокрушительный удар по теориям колонизаторов о «неполноценности» африканских наций. Независимые государства становятся мощной притягательной силой для африканских народов, ядром единства африканцев в борьбе за освобождение.

Важное значение имеет политика нейтралитета, которую проводят такие африканские государства, как Гвинейская Республика, Гана, ОАР, Эфиопия и другие. Эта политика укрепляет их положение на международной арене. Известно, что империалистические круги всячески пытаются вовлечь африканские страны в «холодную войну», прибегая к истрепанному жупелу «коммунистической опасности». Но у лжи ноги коротки. Народы Африки судят о том, кто друзья и кто враги, не по словам, а по делам.

Советский Союз имеет дружеские отношения и оказывает бескорыстную экономическую помощь монархической Эфиопии и республиканской Гвинее. Несмотря на различие социальных систем, экономическое сотрудничество СССР и Объединенной Арабской Республики сделало возможным осуществление вековой мечты арабов — возведение высотной Асуанской плотины.

Советский Союз и другие социалистические страны строят свои отношения со странами Азии и Африки на принципах мирного сосуществования, не преследуя никаких корыстных целей.

Ярким волнующим выражением крепнущей дружбы Советского Союза с народами Востока явилась поездка главы советского правительства Н. С. Хрущева в Индонезию, Индию, Бирму, Афганистан. Результаты этого ви-

зита имеют и будут иметь огромное значение для судеб Азии, для судеб всего мира.

Советский Союз предложил программу всеобщего и полного разоружения. Осуществление этой программы открыло бы невиданные горизонты перед странами Азии и Африки, так как значительная часть огромных средств, уходящих на гонку вооружения, была бы использована для развития экономики отсталых стран.

Мир нужен африканским народам, чтобы перестроить жизнь, и мирная инициатива Советского государства находит горячий отклик в сердцах африканцев.

У борющейся Африки есть искренние и бескорыстные друзья. Это народы социалистического мира, это миллионные массы Азии, это честные труженики западноевропейских стран и Америки. Опираясь на их поддержку, африканские народы окончательно разорвут цепи колониального рабства.

С тех пор, как Грэм Грин совершил свое «путешествие без карты», карта Африки существенно преобразилась. Не за горами то время, когда карта Африки станет неузнаваемой.

Конечно, кое-что в книге Грина потеряло свою актуальность. Со времени путешествия Грина в Африке произошли не только политические изменения, но и глубокие экономические, социальные и культурные сдвиги. Особенно бурно эти процессы протекают в наши дни. В странах, освободившихся от колониального господства, уходят в прошлое и те черты культурной отсталости, которые наблюдал Грэм Грин (антисанитария, темные суеверия, тайные лесные общества-секты с их языческими ритуалами и т. д.). Но книга и сегодня еще имеет большой познавательный интерес, она поможет советскому читателю представить себе результаты колониального господства в Африке, сложную обстановку, в которой разворачивается великая освободительная борьба африканских народов.

«Путешествие без карты» — определенный этап в творчестве Грэма Грина, и издание этой книги на русском языке позволит советскому читателю также познакомиться с еще одной стороной незаурядной творческой биографии английского писателя-реалиста.

В. Маевский

ДОРОГНЕ ЧИТАТЕЛИ!

Пока эта книга совершала свой путь от редакторского стола до печатной машины, события в Африке приняли столь бурный характер, что срочно понадобилось написать еще одно предисловие к «Путешествию без карты».

1960-й год вошел в историю как год выдающихся успехов национально-освободительной борьбы на африканском континенте, как «год Африки». Обрели независимость 17 африканских стран, в том числе Конго, Нигерия, Камерун, Мали, Сенегал, Того, Сомали, Берег Слоновой Кости, Чад и другие. Почти все новые африканские государства заняли свое место в Организации Объединенных Наций.

Карта Африки расцвела яркими красками новых государств, стала неузнаваемой. Автору этих строк довелось совершить в 1960 году большое путешествие по Африке, побывать в Марокко, Гвинее, Гане, Либерии, Конго, Эфиопии, ОАР. В жизни этих стран происходят большие перемены. Африка набирает силы.

Однако африканским народам пришлось познать не только радость освобождения, но и горечь разочарования и утрат.

Ареной трагических событий стала Республика Конго. Бельгийские колонизаторы, признав независимость Конго, тут же попытались восстановить свое господство в этой стране. Опираясь на поддержку союзников по Северо-Атлантическому блоку — США, Англию, Францию, — бельгийские империалисты при попустительстве генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда

отторгли провинцию Катанга от Конго, организовали заговор против правительства Лумумбы, парализовали парламент, избранный конголезским народом. Они зверски убили героического сына Африки — Патриса Лумумбу, имя которого стало знаменем свободы для всех африканских народов.

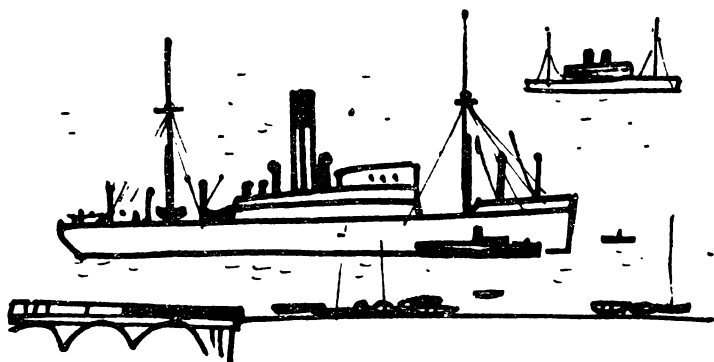
Трагедия Конго еще раз показала всему миру, что колониализм, подобно смертельно раненому зверю, все еще способен причинять людям огромный вред. Эта трагедия с новой силой подчеркнула всю необходимость проведения в жизнь Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году. В основу этой декларации были положены принципы, выдвинутые в советском проекте, который получил широчайший отклик во всем мире как подлинная хартия освобождения народов Азии, Африки и Латинской Америки от колониального ярма.

Борьба в Африке продолжается.

Колониализм в агонии. Бьет его последний час.

В. Маевский

6 марта 1961 года



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУТЬ В АФРИКУ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Высокая черная дверь, выходившая в узкий переулок, долго не открывалась. Я звонил, стучал и звонил снова. Звонка не было слышно; но я все звонил и звонил — то ли из упорства, то ли от полного отчаяния, и много времени спустя, сидя на пороге какой-то хижины во Французской Гвинее *, куда я никак не думал попасть, я вспоминал эту первую неудачу, сновавшие за углом автобусы и бледные лучи осеннего солнца...

На помощь мне пришел мальчишка-рассыльный — он спросил: «Кого мне нужно, может быть консула?»; я ответил: «Да, да! Именно консула», и мальчик сразу же повел меня к собору Святого Дунстана, вверх по ступенькам и прямо в ризницу. Это было совсем не такое начало, какого я ждал в те дни, когда покупал палатку, которой

* Теперь Гвинейская Республика. (Все примечания, за исключением особо оговоренных авторских, принадлежат переводчикам).

так ни разу и не воспользовался, шприц, забытый дома, и револьвер, которому суждено было покоиться на дне чемодана под обувью и шкатулкой с серебряными монетами. В соборе готовились к Празднику урожая; ризница была разукрашена пышными желтыми цветами, на полу груды лежали тыквы; но консула тут не было и в помине. Рассыльный долго вглядывался в полумрак и, наконец, показал мне маленькую озабоченную женщину, склонившуюся над цветочными горшками.

— Вот она,— сказал он.— Она самая. Она вам все объяснит.

Я чувствовал себя очень неловко, когда, пробравшись между тыквами в соборе Святого Дунстана, наконец, спросил:

— Вы случайно не знаете... где тут консул Либерии..?

Оказалось, что она знает, и я пошел на другую улицу.

Было три часа, и в консульстве как раз кончали обедать. Три человека — я не мог определить их национальности — находились в маленькой комнате, затерянной в сверкавшем новизною конторском здании. На подоконнике валялись старые телефонные книги и школьные учебники по химии. Один из служащих мыл посуду в тазу, поставленном в корзину для бумаг. В жирной воде плавали какие-то желтые нити, похожие на мочалу. Человек снял с газовой плитки кастрюлю с кипятком и стал поливать тарелку, держа ее над тазом, потом вытер тарелку полотенцем. Стол ломился под тяжестью посылок (казалось, они набиты камнями), а лифтер то и дело заглядывал в дверь и швырял на пол все новые и новые пакеты. Комната смахивала на убогий фургон, застрявший посреди нарядной, ярко освещенной улицы. Пожалуй, если уйти, а потом снова вернуться сюда, в поблескивающее металлом ультрасовременное здание, этой комнаты уже не окажется на месте; да, вернее всего, она переберется куда-то дальше.

Впрочем, все были очень любезны. Меня только попросили уплатить деньги; никто не поинтересовался целью поездки, хотя многие специалисты по Африке уверяли, будто республика Либерия не любит незваных гостей. Работники консульства перебрасывались шуточками, понятными только им одним.

— До войны,— говорил высокий человек,— вообще не нужны были паспорта. С ними одна морока. Разве что

для Аргентины.— Говоривший поглядел на того, кто во-
зился с моими документами.— А вот чтобы поехать в
Аргентину, нужно было даже отпечатки пальцев пред-
ставлять, да еще за месяц вперед, чтобы Скотланд-Ярд *
успел связаться с Буэнос-Айресом. Всех жуликов на свете
почему-то тянуло в Аргентину.

Я разглядывал висевшую на стене знакомую карту,
на которой так мало названий... Несколько городов на по-
бережье, несколько деревень вдоль границы.

— Вы бывали в Либерии? — спросил я.

— Нет, что вы, — ответил высокий. — Мы предпочитаем, чтобы они ездили к нам.

Другой украсил мой паспорт круглой красной печатью
с государственным гербом — трехмачтовым кораблем,
пальмой, летящим над ней голубем и девизом: «Нас при-
вела сюда любовь к свободе!». Мне пришлось расписаться
повыше такой же красной печати, скреплявшей «Декла-
рацию иностранца, собирающегося посетить республику
Либерию».

«Ознакомившись с положениями Закона об иммигра-
ции, я свидетельствую, что могу быть допущен на терри-
торию Республики.

Мне известно, что в случае принадлежности к ка-
кой-либо категории лиц, которым запрещен въезд в
Республику, я подлежу высылке или тюремному заклю-
чению.

Клянусь, что настоящее заявление соответствует
истине, насколько я в силах об этом судить, и что во
время пребывания в Республике я готов всецело подчи-
няться законам и властям».

Единственное, что я знал о Законе, — это то, что вся-
кому белому въезд в Либерию разрешен только с моря,
через определенные порты, за исключением случаев, ко-
гда за большие деньги покупается лицензия на геологи-
ческую разведку. Что касается меня, я собирался пере-
сесть границу британских владений и выйти на побережье
через леса в глубине страны...

В начале девятнадцатого века одно американское фи-
лантропическое общество принялось отправлять освобож-
жденных рабов на африканское побережье (говорили, что
многие руководители этого общества были рабовладель-

* Полицейское управление в Лондоне.

цами и ухватились за это, чтобы избавиться от своих незаконнорожденных детей). Купили землю у местных царьков и основали поселение Монровия. «Нас привела сюда любовь к свободе»... Трудно винить этих первых поселенцев, которые вскоре обнаружили, что их любовь к собственной свободе мешает свободе местных племен. История республики Либерии мало чем отличается от истории соседних колоний, где правят белые,— здесь точно так же нарушали договоры, прибегали к вооруженной силе, постепенно захватывали чужие земли; больше того — первые поселенцы проявляли здесь тот же героизм, что и их белые собратья, своеобразный пуританский героизм, где мученичество сочеталось с глупостью. Были тут, например, черные квакеры из Пенсильвании — пацифисты и трезвенники; когда на них напали испанские работорговцы, они целиком положились на бога и были перебиты. Только сто двадцать человек спаслись и поселились в Гран-Басе.

С самого начала эти бывшие американские рабы-полукровки были идеалистами на американский лад. Когда они провозгласили республику, их Декларация независимости дышала тем же парадным холодом мрамора, что и американская. Шел 1847 год, а слова были заимствованы у восемнадцатого века; они родились в Вашингтоне — пышные, как эпитафия на гробнице богача. Хартия торжественно начиналась с перечня неотъемлемых прав на жизнь и свободу, но сразу же переходила на «право приобретать собственность, владеть и пользоваться ею, а также защищать ее». Сегодня «идеалы» все еще американские, но это уже американизм Таммани-холла*; потюки рабов пустились в политические махинации с увлечением завязанных картежников.

«Если вы желаете процветания своему народу, независимости правительству, почетного места среди флагов других наций нашей Одинокой Звезде, вы снова будете голосовать на выборах за президента Барклея...» — гласит предвыборное воззвание...

Казалось, в том краю есть что-то нездоровое, какая-то порча, которой не найдешь в других местах, болезнь же всегда вызывает жалость, даже болезни цивили-

* Политический клуб в Нью-Йорке, связанный с местной организацией демократической партии, — синоним продажности американской избирательной машины.

лизации: рекламы в небе над Лестер-сквер *, «девицы» на Бонд-стрит **, запах вареных овощей возле Тоттенхем-Корт-роуд **, продавцы подержанных машин на Грэйт-Портленд-стрит **.

Но иногда человека охватывает беспокойство, его тянет прочь из города, он согласен терпеть неудобства и лишения ради смутной надежды найти то, чему есть тысяча названий — копи царя Соломона, «душа черного народа», а может быть, как выражается господин Гейзер в романе об Африке «Паломничество души», свое место во времени, обусловленное знанием не только сегодняшнего дня человечества, но и его прошлого, откуда мы все пришли. Есть, конечно, и такие люди, которые любят заглядывать вперед — советское агентство Интурист снабжает их недорогими билетами в правдоподобное будущее, — но мое путешествие было иным.

Я вспоминаю его как сон, полный какого-то особого смысла: перед моими глазами проходят и старик, которого избивали дубинкой во дворе жалкого подобия тюрьмы в Тапи-Та, и скорчившиеся на дне ямы нагие вдовы в Тайлахуне, измазанные желтой глиной, и дьявол с деревянными зубами, который кружит в развевающемся плаще из пальмовых листьев между деревенскими хижинами.

Сегодня наш мир как-то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ? Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, — тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути.

ЧЕРЕЗ ЛИВЕРПУЛЬ

И все же меня немножко пугала перспектива вернуться в прошлое через Африку в полном одиночестве, и я очень благодарен своему двоюродному брату, согласив-

* Район увеселительных заведений в Лондоне.

** Улицы в Лондоне.

шемуся сопровождать меня в этом путешествии, для которого нельзя было купить карт.

Оно началось в вагон-ресторане поезда, уходившего в 6.05 с вокзала Юстон. Перед нами стояли тарелки с плохо прожаренной рыбой. Газетный заголовок сообщал еще одну версию о трупе, найденном в сундуке; покончил с собой безработный; а за окном, вдоль линии железной дороги, мокли под дождем полусганки, словно шеренга опущенных в воду факелов.

Огромная ливерпульская гостиница построена безвкусно, зато с подлинной страстью к великолепию и с пониманием, что такое удобства. Вероятно, здесь могло бы разместиться не меньше пассажиров, чем на трансатлантическом пароходе; я говорю о пассажирах, потому что никто не ездит в Ливерпуль развлечения ради — поглядеть на маленькую тесную площадь, на неоновые рекламы, висящие так низко, что впору хоть рукой достать, на кино и бары, которые все тут закрываются в десять часов и не позже. Но ливерпульская гостиница не похожа на другие; ее не назовешь ни модной, ни веселой, ни европейской, зато в длинных коридорах, где гложет всякий шум, за высокими, как утесы, стенами жив дух постоянных дворов старой Англии: здесь не постесняешься заказать сдобную булочку или кружку пива, прислушиваясь к пароходным гудкам и разглядывая груды багажа в холле; уверен, что здесь сохранился еще и старомодный коридорный. Во всяком случае там я понял Генри Джеймса *, сойдя на берег, удивился, какой английской оказалась Англия, он даже заподозрил, что она приложила к этому немало стараний, желая ему угодить.

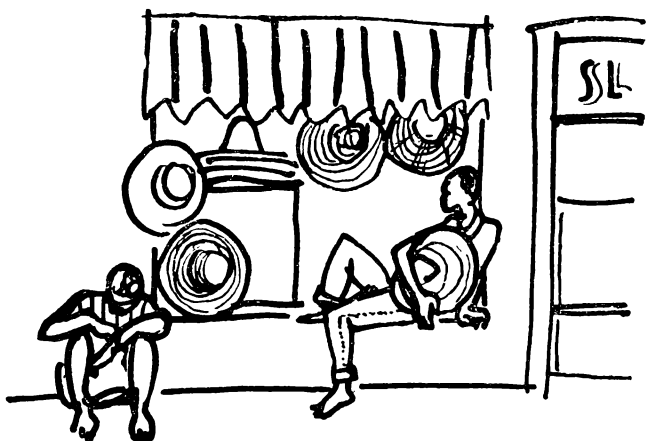
Несмотря на блеск никелированной посуды, повсюду проглядывала обычная английская бестолковщина; даже сдобная булочка и та была чудовищных, прямо-таки тошнотворных размеров. Если гостиница выглядела нелепо, то это потому, что великолепие всегда выглядит немножко нелепо. Редко кому удается величественный жест. В тех немногих случаях, когда красота и великолепие совпадают, вы чувствуете себя как в театре или кино: это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Меня всегда мучает противоречие: я убежден, что жизнь должна быть

* Американский писатель, переселившийся в Англию (1843—1916).

лучше, чем она есть, и в то же время верю, что всякое видимое благополучие непременно скрывает темную изнанку. Впрочем, в этом гигантском зале ливерпульской гостиницы, на широких просторах пушистого темного ковра вы были как дома; зал напоминал увеличенный в пятьдесят раз сельский трактир; где-то в углу спал с открытым ртом проезжий коммерсант; вы бы не чувствовали себя здесь по-домашнему, если бы гостиница была построена по голливудским образцам.

На рейде Ливерпуля ничто не изменилось со дней Генри Джеймса: «Черные пароходы снуют в желтой воде Мерсея, а небо нависло над ними так низко, что они, кажется, вот-вот заденут его своими трубами». Даже краски остались прежними. «Густая, насыщенная ветром мгла мягко серебрится, то и дело переходя в черноту».

Грузовой пароход стоял у самого устья Мерсея, покачиваясь на волнах Ирландского моря; холодный январский ветер разгуливал по палубе; пассажиры теснились внизу; смущенные и благодушные, они прощались с провожающими и откровенно скучали. А в иллюминаторе исчезала из глаз Англия — каменные ступени, просмоленный борт и бьющая в стекло серая волна.



Н

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТОРГОВОЕ СУДНО

МАДЕЙРА

а торговом судне у нас с двоюродным братом было пятеро спутников: двое служащих пароходной компании, коммивояжер машиностроительной фирмы, врач, который вез в Африку вакцину против желтой лихорадки, и женщина, ехавшая к мужу в Батерст. Все они, за исключением женщины и коммивояжера, были своими людьми на африканском берегу. У них были общие знакомые и одинаковые привычки, продиктованные одинаковыми условиями существования. Ежедневная порция хинина, москитные сетки на иллюминаторах — все это казалось им столь же естественным, как скатерть на обеденном столе.

В таких условиях легко рождаются легенды. По существу легенда — достояние первобытного общества, где труд, досуг и образование еще не успели расчленить людей и внести разноречивость в уровень их сознания, любой рас-

сказ быстро передается от одного к другому, не подвергаясь ни малейшему сомнению. Но иногда подобные условия складываются искусственным образом и в наши дни. Общая опасность, общая цель или сходный образ жизни могут свести на нет интеллектуальные различия и сломать имущественные барьеры — тогда-то и являются ангелы и случаются чудеса у раки святого.

— Да,— говорили в курительной комнате,— капитан В. человек с характером, другого такого не найти.

Все его знали, потому что все они жили на Берегу — и капитан, и доктор, и агент пароходства.

— Что бы с ним ни стряслось, он и бровью не поведет,— сказал врач.

— Не раздумывая пойдет на буксирном катере в кругосветное плавание!

— И грузов не боится! Идет на риск, и все тут. Поэтому и фрахт у него такой дешевый.

— А владельцы грузов соглашаются?

— Его слово крепче страхового полиса.

— А что если груз погибнет?

— Пока у него ничего не погибало.

Весь субботний вечер молодой агент пароходной компании просидел в радиорубке, ожидая результатов футбольного матча на первенство Англии. Они болтали с радистом, перебирая морские сплетни, интересные одним посвященным: как имярек поссорился со Стариком и перешел на другую линию. Над головой у них мигали лампочки; глухо жужжал передатчик — маленькая кабина с ее частоколом приборов была механизирована ничуть не меньше, чем машинное отделение внизу; как скала, возвышался большой черный полированный ящик, синяя, желтая, темно-красная резиновые обмотки пухло соединяли концы проводов и были похожи на ряд цветных грелок; в этом безлюдии из сверкающей меди и стали двигался одинокий негр с пыльной тряпкой в руках.

Наслушавшись сплетен, я покинул мигающие лампочки, сумрак радиорубки и вернулся в курительную.

— ...четыре-шесть человек в одном Дакаре,— говорил капитан врачу.

Та же тема обсуждалась за утренним завтраком: чума в Дакаре, желтая лихорадка в Батерсте — вспышки эпидемий, которые замалчивались на французском Берегу и о которых не сообщали ни единого слова в Либерии. Раз-

говоров об эпидемиях невозможно было избежать: о чем бы ни зашла беседа — о религии, политике или книгах, — она всегда съезжала на малярию, чуму или лихорадку. Пока ты в море, это предмет для шуток — совсем как чужая жена со сварливым характером; но когда сходишь на сушу, такие разговоры приобретают зловещий характер, даже мурашки пробегают по телу, и мы сразу замечаешь тех, кто уклоняется от подобных тем, предпочитая беседовать о чем-нибудь более утешительном.

Например, о «Деревушке в долине» мистера Биверли Никольса, стоявшей на полке судовой библиотеки. Странные книги читаешь в море, книги вроде «Цыганки» леди Элеоноры Смит, романов Уорвика Дипинга или У. Б. Максвелла — никому бы и в голову не пришло читать их дома. Эту кучу книг, где нет ни правды, ни вдохновения, где одно серое слово цепляется за другое, читают, дожидаясь автобуса, держась за поручень в вагоне метро, урывая минуты, когда хозяин перестает диктовать письма, или за завтраком в дешевом кафе. Целая книжная промышленность зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья.

На Мадейре шел дождь. В убогом городке, стяжавшем дурную славу, сводники расхаживали по улицам с десяти часов утра. У Золотых Ворот мы пили сладкое вино, а дождевые капли беспрерывно стекали с причудливых шляп в форме фаллоса, развешанных у дверей лавчонок. Сводники предпочитали соломенные шляпы с цветными лентами; они преследовали нас по всему Фуншалу: их нисколько не смущал ни дождь, ни ранний час. «Люкс», — твердили они, — «секс» и добавляли что-то насчет танцовщиц. Их промысел, как и тот, что кормил господина Биверли Никольса, зиждется на нехватке досуга и нехватке счастья. Скорей, скорей, ты сошел на берег на каких-нибудь полчаса, да и сил у тебя осталось всего на несколько лет, возьми еще одну женщину, пока не поздно; та, которая у тебя есть, не дала тебе счастья, так попробуй другую. Цветочницы торговали под дождем фиалками, лилиями и розами, дождь стекал с фаллических шляп; сводники никак не могли взять в толк, что тебе не до женщин в такую рань и такую сырость, что можно и по-другому убить время — выпить сладкого вина у Золотых Ворот, а то и просто вернуться на борт и приняться за леди Элеонору Смит и мистера Биверли Никольса.

В Фуншале сели на пароход новые пассажиры третьего класса: молодой немец-художник и его жена; их устроили в крошечном лазарете. Художник был полный прыщеватый молодой человек в бархатной куртке. В тесном лазарете он развесил свои полотна — яркие реалистические пейзажи и портреты опаленных солнцем мексиканских индейцев. Темнело. Все пили скверную мадеру прямо из бутылки, художник разглагольствовал об Искусстве, Спорте и Красоте Плоти, а его маленькая жена, пухленькая, хорошенькая и покладистая, потихоньку страдала от морской болезни. Он был горячим поклонником национализма, водного спорта и любви, восторгался живописью Орпена и Ласло, но не признавал работ Мунка — в них нет души, говорил он, Мунк материалист; это не значит, что сам он не верит в Плоть, Красоту Плоти и Плотскую Любовь. Он согласился было отправиться с нами в путешествие по Африке, чтобы иллюстрировать мою книгу: настоящий художник, сказал он, везде чувствует себя как дома, но после обеда отказался от этого намерения. Его милая, покладистая и уже опытная супруга заявила: да, она охотно отправится в глубь Африки, но после обеда и она отказалась от своего намерения. Он был плохой художник, но отнюдь не шарлатан. Живя почти впроголодь, он не терял веры в себя и в свои туманные тевтонские идеалы.

К обеду все захмелели от плохой мадеры и розового джина, который они называли Береговым. Служащий пароходной компании затянул «Старую отчизну», а потом «Танец цветов» и «Пустил стрелу я в небеса». Толстый коммивояжер по фамилии Юнгер все повторял: «Дайте мне еще молока от бешеной коровки» и проливал кофе на скатерть. Немцы отправились в свою каюту — через нижнюю палубу и вверх по железным ступенькам на корму; ее мутило, от этого она только притихла еще больше. Служащий пароходной компании снова затянул «Старую отчизну»: «Далеко, далеко на родном берегу, помолитесь, друзья, за душу мою...» — и все почувствовали себя англичанами до мозга костей, осужденными на изгнание, и загрустили, все, кроме Юнгера, который полез по лестнице на палубу, цепляясь за перила и бормоча: «Назад я поеду поездом». Он был больше англичанином, чем все остальные; север вошел ему в плоть и кровь, он был убежденным шовинистом, чуждым всякой сентиментальности,

сквернословом, но человеком честным. Пил он потому, что хотел забыться, потому, что впереди, на Берегу, его ждала трудная работа, потому, что любил жену и его одолевала отчаянная тревога. У него было больше оснований пить, чем у остальных. Годы процветания отложились в складках его грузного тела, в трех его подбородках; с первого взгляда трудно было заметить, каким тяжелым камнем лег ему на сердце кризис. Если бы понадобилось нарисовать портрет Юнгера в старинной манере — с миниатюрными пейзажами и тосканскими городами на заднем плане, — его следовало изобразить на фоне потухшей домны или недостроенной фермы большого моста, превратившейся в насест для перелетных птиц.

Юнгера не покидал здравый смысл даже в часы беспутства.

— Восемнадцать месяцев на Берегу!.. Скажите, доктор, — допытывался он теперь, — как это люди ухитряются столько вытерпеть?

— Уму непостижимо, — отвечал врач.

— Нет, как они все-таки ухитряются?

— Этот же вопрос задавал мне сам губернатор. Не знаю, что вам ответить.

Юнгер ложился позже всех; перед сном он минут десять бродил взад и вперед по коридору; в нем было нечто плебейское и вместе с тем нечто царственное, внушавшее почтение, никто не обижался на его выходки. «Эй, ты, вобла! — кричал он, подходя к двери капитанской каюты, — эй!» И капитан послушно появлялся на пороге. С женщинами он вел себя как Фальстаф и был до глупости безгрешен, довольствуясь тем, что кого-нибудь пощекочет или облапит. «Ах ты, живчик ты этакий!» — приговаривал он. И даже скромная и замкнутая молодая женщина, никогда до этого не покидавшая мужа и Ливерпуль, не пившая, не курившая и не любовавшаяся на луну, вернула ему шлепок. В его беспутстве было что-то рыцарское. Его речь была хороша, как детский рисунок: живая, непосредственная, неиспорченная.

БАЛАГАН

В Тенерифе шел кинофильм, снятый по одному из моих романов. Смотреть его было для меня поучительно и довольно тягостно. Режиссура мне показалась беспо-

мощной, работа оператора ремесленничеством, сценарий сентиментальщиной. Если в романе и была какая-то правда, ее старательно вытравили; если что-нибудь и оставили без изменений, то одну только фальшь. По этим неизменным кускам я смог оценить и осудить свой роман, ясно увидев все, что в нем было пошлостью и дешевкой, а потому и пригодным для этого пошлого дешевого фильма.

И все-таки между ним и мной сохранилась какая-то связь. Я никогда не относился всерьез к этой своей книге *; она была написана наспех — я отчаянно нуждался в деньгах. Но даже в такую книгу вложены какие-то крохи жизненного опыта и девять месяцев труда; в моей памяти она слилась с деревней, где я ее писал, и с переживаниями невзгодами; я не мог порвать все нити, связывающие меня с ней; было странно и, пожалуй, даже приятно встретить ее здесь в жарком, солнечном, утопающем в цветах городе. Есть такие места, где вас радует каждый намек, вызывающий воспоминания о прошлом. — любой, даже самый отдаленный, едва уловимый намек.

«Юные сердца в сетях интриги. Бегство от жизни. Обмануты? На всех парах через Европу. Колеса судьбы».

Никогда еще голливудский балаган не вторгался так властно в мою жизнь. Он проявил великолепное пренебрежение к купленному товару. Его попытка проникнуть в человеческую психологию была либо цинически лживой, либо убийственно лишенной воображения.

Выдержка из рекламной брошюры:

«Восточным экспрессом называется поезд, пересекающий Европу от Бельгии до Стамбула. Поэтому не думайте, будто слово «Восточный» означает в данном случае что-нибудь китайское или японское. Тем не менее вы найдете здесь достаточно экзотики для живой, красочной рекламы, как вы убедитесь, если перелистаете эту брошюру.

Фильм и финики. В распоряжении кинопроката имеются три кадра: Норман Фостер объясняет Хизер Энджел тайны половой жизни финиковой пальмы; Норман Фостер угощает Хизер Энджел финиками; Хизер Энджел покупает финики из окна железнодорожного вагона. В фильме есть также бле-

* Речь идет о раннем приключенческом романе Г. Грина «Восточный экспресс».

стящий диалог о финиках. В каждом городе есть первоклассные гастрономические магазины, торгующие финиками в изящной упаковке. Свяжитесь с каким-нибудь из них, чтобы использовать его витрины для рекламы фильма, и устройте выставку в фойе кинотеатра с использованием этих трех кадров и соответствующей рекламой.

В фойе можно также организовать выставку различных видов продукции из фиников, показать богатейшие возможности применения фиников в быту и т. д. В крупных городах это не представит трудностей. Если удастся привлечь большие фирмы, посетителям кино можно разрешить пробовать финики бесплатно. Детали придется уточнить на месте.

Не следует недооценивать значения по-настоящему нарядной витрины, украшенной изделиями из фиников, корзинами соблазнительных фруктов и фиников и тремя кадрами из фильма с соответствующей рекламой: «Купите пакет восхитительных фиников и отправляйтесь на «Восточном экспрессе» в Стамбул — вы проведете незабываемый вечер в кинотеатре Риальто».

Знаете ли вы:

Что Маркизету, любимому котенку Хизер Энджел, пришлось подстричь когти, так как он точил их только о ножки дорогих столов?

Что Хизер Энджел любит наводить экономию, покупая моющиеся перчатки и стирая их собственноручно?

Что Уна О'Коннор разрешает только небольшому кругу избранных друзей называть ее «Малюткой»?

Вся эта шумиха не смогла обеспечить успех фильму — к моему облегчению: по договору мое имя должно было стоять на афише, — фильм кочевал по маленьким, жалким кинотеатрикам, пока, наконец, его не занесло в Тенериф, в тенистый переулок, в зал за старинной резной дверью, похожей на монастырскую калитку. Это как-то примиряло меня с фильмом — на нем не лежала бесстыжая печать успеха; пусть он был пошлым, но по крайней мере не торжествующе пошлым. Его провал как-то не вязался с обычными представлениями о Голливуде.

Канарские острова лежат на полпути в Африку. Склон горы, украшенный рекламой кинокомпании Фокс и копиями бледных кактусов... Гостиница в стиле викторианской готики, опутанная плетьюми бугенвиллей. Попугаи и обезьяна на цепочке... Здесь мы услышали бесчисленные рассказы о жизненных ошибках и неудачах: о брошенной в Китае должности, о несостоявшемся назначении в Бангкок, о маленькой газете в Ноттингеме. Но моя память сохранила только крикливую афишу, сладковатый вкус желтого вина, плоские кровли, цветы, беседку, заваленную пустыми бутылками, и ясли Спасителя в маленьком темном соборе.

ДАКАР

Я проснулся от скрежета железа о камень и увидел Берег. Это слово уже прочно вошло в нашу жизнь. Люди говорили: «Элдридж? Ну, конечно, он ведь старожил тут, на Берегу». А сам Элдридж, немолодой агент судоходной компании, неизменно повторял, садясь за стол: «Жратва — вот как мы это зовем на Берегу». Или, передавая тарелку с луком, пояснял: «У себя на Берегу мы зовем это фиалками». Розовый джин именовался Береговым. И Берег, конечно, был один-единственный — западноафриканский, другого берега никто и знать не знал.

На пристани разгуливали взад и вперед сенегальцы, их длинные белые и синие одежды мели пыль, которую ветер сдувал с двадцатипятифунтовой груды арахиса. Мужчины расхаживали, держась за руки, лениво посмеиваясь под ослепительными отвесными лучами солнца. Иногда они обнимали друг друга за шею; казалось, им нравится прикасаться к живому телу — словно от сознания, что рядом кто-то есть, становилось веселее на душе. Нам такое чувство непонятно и недоступно. Двое сенегальцев провели так на наших глазах целый день: они были здесь, когда пароход, плавно скользя по воде, пришвартовался по соседству с грудой арахиса; они оставались здесь и вечером, когда погрузка окончилась и грузчики умыли руки и лицо горячей водой, струя которой била из борта судна. Эти двое и не думали работать — просто ходили взад и вперед, держась за руки и со смехом обмениваясь шутками. Вид их придавал ослепительному дню и нашему первому знакомству с Африкой обая-

ние душевного тепла и сонной красоты, ощущение безмятежной и беззаботной радости.

Là, tout n'est qu'orde et beauté,
luxe, calme et volupté *

Тут, в Дакаре, трудно было поверить, что Бодлер никогда не был в Африке — здесь все дышало его «Призывом к странствию» и еще, пожалуй, «Миллионом» Рене Клэра.

Да, это был вылитый Рене Клэр с его жизнерадостными и поэтичными нелепостями: и два величественных магометанина, заснувшие в городском саду на посыпанной гравием дорожке подле черного железного котелка; и крохотные сирийские детишки, шагавшие в школу в белых тропических шлемах; и усевшиеся в кружок на тротуаре мужчины, занятые шитьем; и рябой извозчик, остановивший лошадей и скрывшийся в кустах, чтобы сотворить молитву; и грузчики с мешками арахиса, шагавшие вверх и вниз по лестнице из мешков и возводившие все выше и выше арахисовую гору на пристани, похожие на жестяные фигурки, которыми торгуют на рождество в Лондоне; и прекрасные черты женщин на базаре — и молодых, и старых — прекрасные не столько женской привлекательностью, сколько живописным своеобразием.

В ресторане после нескольких глотков замороженного сотерна нас уже не тревожил тот Дакар, о котором мы столько слышали: Дакар чумной эпидемии и громоздкого бюрократического аппарата, город с самым нездоровым климатом на всем Берегу.

В своей книге «Пляски Африки» Горер рассказывает, как вымирает негритянская молодежь в Дакаре — вымирает не от туберкулеза, чумы или желтой лихорадки, а, по-видимому, от истощения, от безнадежности. Наверно, Горер прожил в Дакаре слишком долго и видел слишком многое. Внезапное ощущение счастья, которое испытываешь при первом знакомстве с Дакаром, очень недолговечно — оно похоже на счастье, от которого набегают слеза, прекрасное и неверное, как исполнение желаний.

* Здесь все — гармония и красота,
И чувств, и мыслей полнота

(перев. Б. Слуцкого).

Да, без сомнения был и другой Дакар — Дакар четырехсот шестнадцати умерших от чумы, город отчаяния и несправедливости — но на какой-то миг сквозь облик его проглянуло нечто иное, нечто упрямо хранимое здесь испокон веков. Так, смотря первые фильмы Рене К्लэра, вы готовы были поверить, что это и есть та жизнь, для которой мы рождены, пробивающаяся сквозь ту жизнь, которая нам навязана, пробивающаяся сквозь заботы, неприятности, кризис и неутоленные желания; все становилось несущественным, мимолетным, и вы больше не думали о завтрашнем куске хлеба или о завтрашней женщине, а просто брали кого-то за руку и чувствовали себя на седьмом небе, и вам было наплевать на все.

Конечно, очень скоро обнаруживалось, что такое ощущение никак не вязалось с действительностью. Тяжелые взмахи ястребиных крыльев над Батерстом *; на заднем плане, вдоль песчаной отмели, — длинная, низкая полоса домишек и деревьев; теснота в негритянском квартале, где люди кишат, как мухи на падали; запрещение сходить на берег — карантинная мера против желтой лихорадки, свирепствовавшей в городе; чувство одиночества, охватившее нашу спутницу, когда она высадилась здесь, чтобы встретиться с ожидавшим ее мужем, — все это больше походило на подлинный Берег. И еще: оборванец-поляк в майке и грязных белых брюках, появившийся на пароходе в Конакри **, — он не говорил ни по-английски, ни по-французски, но упорно допытывался, как называются комбинации в бридже. Капитан достал ружье и застрелил ястреба, усевшегося на мачте; чайки бросились врассыпную, взвившись в раскаленном воздухе, а пыльный труп хищника свалился на палубу, как предвестник мрака.

* Порт и административный центр британской колонии Гамбия.

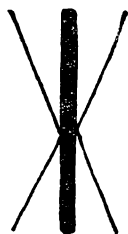
** Столица Гвинеи.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДОМА, ХОТЬ И ВДАЛИ ОТ ДОМА

ФРИТАУН



ара и сырость — вот первое впечатление от Фритауна, столицы Сьерра-Леоне; в нижней части города туман растекался по улицам и ложился на крыши, как дым. Условная пышность природы, поросшие лесом холмы над морем, скучная, тусклая зелень бессильны были скрасить убожество города. Из утренней мглы поднимался англиканский собор — красноватый песчаник и жесть, четырехугольная башня — церковь в норманском стиле, выстроенная в девятнадцатом веке. И сразу родилась уверенность: мы снова дома. Среди роя окруживших пароход туземных лодок бросалась в глаза «Принцесса Марина» — краска, которой написали ее название, была совсем свежая.

— «Принцесса Марина», — выкрикивал полуголый лодочник, — прелестнейшая лодка на всем Берегу!

Железные крыши, обрывки афиш, разбитые окна в

публичной библиотеке, деревянные лавчонки — Фритаун был овеян духом рассказов Брет-Гарта, но без буйной жизни, без кабаков, револьверных выстрелов и скачущих коней. Конь во всем городе был только один — мне показал его владелец Гранд-отеля: тощий пегий мерин, смахивавший на мула, тащился вниз по главной улице. Время от времени сюда привозили и других лошадей, но все они передохли. Повсюду видны были обитые жестью бараки и огромные складские здания, облепленные сверху донизу афишами (на них значилась дата: пятнадцатое января) прошлогоднего благотворительного концерта. Засунув под крыло отвратительные крохотные лысые головы, торчали на крышах грифы; они нагло селились в садах, словно индюки; я насчитал семь из окна моей комнаты. Перебираясь с одного насеста на другой, они поражали глаз своей непригодностью к полету, казалось, они скачут через улицу, едва отрываясь от земли тяжелыми взмахами пыльных крыльев.

Это была одна из английских столиц; Англия разбросала здесь этот город с его жестяными лачугами и благотворительными афишами, а сама удрала вверх по склонам холмов за ограды нарядных вилл с широкими окнами, электрическими вентиляторами и толпою слуг. Любой визит к белому человеку стоил десять шиллингов: приходилось брать такси — железная дорога до Горной станции не работала. Насадив свою жалкую цивилизацию, белые люди сбежали от нее подальше. Все, что было уродливого во Фритауне, принадлежало Европе — лавки, церкви, правительственные здания, обе гостиницы. Все, что здесь было красивого, принадлежало Африке — лотки торговцев фруктами, стоявших по вечерам на перекрестках со своим товаром, освещенным горящими свечками; черные женщины, шествовавшие в воскресное утро из церкви, покачивая красивыми бедрами, поводя широкими плечами, во всей своей красе — дешевый ситец, малиновые или зеленые оборки, соломенная шляпа с широкими полями, гордо сидевшая на голове. Разряженные, словно на летний бал, они приносили в маленькие дворики, где сидели грифы, хоть дешевое, но яркое великолепие; природа же при всем своем великолепии не могла скрасить безобразия Фритауна.

В мужчинах вы не замечали этой спокойной уверенности в себе; они получили образование и могли понять,

что их надули, что им досталось на долю худшее из наследия обоих миров. Кое-кто из них носил мундир, занимал официальную должность, посещал приемы в губернаторском дворце, пользовался правом голоса; все же они ежеминутно сознавали, что за ними с усмешкой и превосходством следят бессердечные глаза белого человека (ах, этот презрительный хохот у тебя за спиной!).

Фритаун развлекается чисто по-английски, как Дакар чисто по-французски. Бывают даже приемы в генерал-губернаторском саду, где белые и черные, держась на почтительном расстоянии друг от друга по разные стороны грядки, под звуки военного оркестра разглядывают огород: «Смотри-ка, ему и в самом деле удалось вывести здесь помидоры». — «Милочка, пойдем поглядим на капусту». — «Скажите, это настоящий салат?»...

В БАРЕ

Мне захотелось пошататься по кабакам. В Фритауне это не так-то просто. Выпив в «Гранд-отеле», вам остается только отправиться в «Столичную». Там всегда болеелюдно и шумно: можно поиграть на бильярде и народ живет — опрокинут рюмку-другую и рассказывают непристойные анекдоты, правда, если поблизости нет дам.

Почти у каждого белого жена на Горной станции; выпив в субботний вечер, муж покупает шоколад и показывает собеседникам фотографии своих отпрысков («Простите, я не очень люблю детей». — «Ах, что вы, мои бы вам понравились!»). Но есть и такие, у кого жена осталась в Англии; проглотив не больше двух рюмок — ведь он обещал жене не пить, — соломенный вдовец сражается в карты по маленькой. Все они играют в гольф и ездят купаться на пляж Ламли. Здесь нет ни одного кино, куда можно было бы пойти белому, а книги, разумеется, гниют в этой сырости, в них заводятся черви. Впрочем, черви заводятся и в желудке, стоит только пожить здесь подольше, но никто не обращает на них внимания — ведь это неизбежно. Фритаун, уверяют вас, самое здоровое место на всем Берегу. В день моего отъезда молодой человек, служивший в ведомстве просвещения, умер от желтой лихорадки.

Глистов и малярии (даже и без желтой лихорадки) вполне достаточно, чтобы отравить существование в «са-

мом здоровом месте на Берегу». Посетители бара «Столичной» — золотоискатели, агенты пароходных компаний, торговцы, инженеры — постарались перенести сюда английские обычаи, не то как бы они сохраняли душевное равновесие? Не они были здесь хозяевами; они приехали только для того, чтобы нажить деньги, их отношение к «проклятым черномазым» по крайней мере было лишено лицемерия. Подлинные хозяева приезжали сюда ненадолго; каждые полтора года отправлялись они в длительный отпуск, устраивали приемы; считалось, что они находятся здесь для блага тех, кем они правят. Именно на них лежала ответственность за многое: на их совести были, например, заработки рабочих на строительстве узкоколейки до Пендембу (на стыке французской и либерийской границ). Рабочим платили всего 6 пенсов в день; тем не менее в годы кризиса у них ежемесячно вычитали однодневный заработок. Эта мера была, вероятно, самой подлой среди многих подлых мер экономии, которые помогли Сьерра-Леоне перебиться в годы кризиса, вызванного падением цен на пальмовое масло и пальмовое семя, когда концерн «Леверс»* стал оказывать предпочтение китовому жиру. Экономия почти всегда наводилась за счет цветных; штаты правительственных учреждений не пострадали, разве что кое-где сократили секретаря или курьера. До визита лорда Плимута, заместителя министра, приехавшего в Фритаун в тот же день, что и я, на всю колонию вместе с протекторатом был только один санитарный инспектор. Его изводило начальство во Фритауне, беспрерывно перебрасывая из района в район; тщетно просил он дать ему людей. Принудительный труд запрещен в британских колониях законом, но санитарному инспектору без штата приходилось выбирать — то ли нарушить закон, то ли оставить деревни погибать в грязи.

Посетители бара были в этом неповинны; все эти подлости совершались без их участия, они были повинны только в жалком обличии Фритауна с его железными крышами и обрывками афиш.

В ответ на все упреки, они говорили: если вы англичанин, вы должны чувствовать себя здесь как дома; если

* Крупнейшая английская монополия, эксплуатирующая богатства Африки.

вам тут не нравится, значит, вы не англичанин. Но если уж кого-нибудь осуждать, чего же нападать на передовые посты, надо винить штаб, главный штаб империи — страну, которая не дала им ничего, кроме жажды благопристойности и чувства чести, очень быстро увядающего в этой жаре.

«НИ ПЕРЕД ЧЕМ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ...»

На пристани меня встретил пожилой негр с зонтиком. Он сказал с укоризной:

— Я жду вас уже несколько часов.

В руках у него была телеграмма из Лондона: его просили связаться с Грином, собирающимся посетить Либерию.

— Меня зовут мистер Д., — сказал негр.

Он хорошо знал Либерию и мог быть мне полезен. Непрошеную помощь предложили мне и более высокие инстанции. Еще на борту судна мне вручили письмо английского поверенного в делах в столице Либерии; он сообщал, что предупредил о моем прибытии министра внутренних дел, а министр написал окружным комиссарам Западной провинции: «Мы будем крайне признательны за всякое содействие, оказанное этим лицам комиссарами и вождями, к которым они обратятся; вам надлежит, ни перед чем не останавливаясь, всячески облегчать их путешествие». Фраза «ни перед чем не останавливаясь» звучала чуть-чуть зловеще, магическая помощь свыше вообще не входила в мои расчеты. Если в Либерии и было что скрывать, то мне тем более хотелось нагрянуть врасплох. К счастью, министр внутренних дел предложил мне определенный маршрут, от которого я без труда мог уклониться, да и всю Западную провинцию я мог оставить в стороне за какие-нибудь несколько дней.

Все обстояло бы проще, если бы удалось раздобыть карту. Но республика Либерия почти вся покрыта лесами и никогда еще толком не картографировалась — хотя бы с той весьма приблизительной точностью, с какой проводились топографические съемки в прилегающих к ней с обеих сторон французских колониях. Я нашел в продаже только две карты большого масштаба. Одна из них, выпущенная британским генеральным штабом,

виполне откровенно оповещала о своем невежестве: большая часть республики представлена на ней в виде огромного белого пятна с бахромой названий вдоль границы и несколькими пунктирными линиями, обозначающими (неправильно, как я в этом неоднократно убеждался) предполагаемые русла рек. Странные эти названия: подавляющего их большинства никто в Либерии не слышал; вероятно, это были имена глухих, ныне опустевших деревушек. Другую карту выпустило военное министерство Соединенных Штатов. В ней есть даже какая-то лихость, она свидетельствует о могучей фантазии ее составителей. Если английская карта довольствуется белым пятном, американская заполняет его набранной крупным шрифтом надписью: «Людоеды». Эта карта не допускает пунктирных линий и не признается в невежестве; зато она так неточна, что пользоваться ею было бы бесполезно, пожалуй даже опасно. В ее фантазиях есть нечто от елизаветинских времен: «непроходимые леса», «людоеды», реки, которых нет и в помине — во всяком случае там, где они обозначены, или где-нибудь поблизости; вас бы не удивило, если посреди леса Гола здесь красовались бы миниатюрные картинки с изображением Эльдорадо, людей о двух головах и сказочных зверей.

Но тут мне на помощь пришел пожилой негр, мистер Д.; он-то знал Либерию.

Мистер Д. жил в негритянском квартале. Это один из немногих районов Фритауна, где еще осталась какая-то прелесть. Негры племен кру славятся на всем побережье как искусные мореплаватели, гордятся тем, что никогда не были рабами и не занимались работорговлей; они избежали влияния англичан. По дороге к пляжу Ламли все еще стоят среди пальм хижины аборигенов; на пороге сидят женщины с неприкрытой грудью. Дом мистера Д. находился на единственной европейской улице этого квартала. Деревянная лестница без перил вела в комнату с дощатыми стенами, на которых висели картины религиозного содержания. В комнате стояли четыре ветхих стула и купленный по случаю стол, а на нем горшок с цветами. Грубо намалеванные мадонны, пронзенные семью мечами, равнодушно переносили свои муки, а у Христа прямо над головой было выставлено кровоточащее сердце цвета сырой печени. Насекомые прыгали

по деревянному полу, а мистер Д. любезно объяснял мне, как добраться до границы.

В Болахуне, сразу по ту сторону границы, находилась американская миссия ордена Святого креста; было бы разумно задержаться там на несколько дней и попробовать нанять носильщиков до Монровии. Мистер Д. ознакомился с маршрутом, намеченным министерством внутренних дел; начиная от Зигиты мне от этого маршрута лучше было держаться как можно дальше. На белом пятне английской карты мистер Д. нанес карандашом свои пометки; он не был уверен, где надо проставить тот или иной населенный пункт — десятью милями левее? десятью милями правее? Английская карта сбивала его с толку своей неточностью. Наконец, он отложил ее в сторону, и я просто стал заносить в записную книжку названия селений: Мозамболахун, Гондолахун, Джинни, Ломбола, Гбеянлахун, Горьенди, Белливела, Банья. Впрочем, нет надобности их перечислять; на самом деле я шел совсем по другому пути, отказавшись даже от первоначального замысла — двигаться на Монровию. В стране, где можно путешествовать, только затвердив название следующего города или деревни и повторяя его в пути каждому встречному, непредвиденные обстоятельства снова и снова заставляли менять планы.

В конце концов моя записная книжка заполнилась длинными перечнями кое-как нацарапанных и, вероятно, перевернутых названий деревень, которые мне никогда не суждено было разыскать. Перелистывая ее теперь, я обнаруживаю, например, такую загадочную запись: «Пароход заходит в К. Пальмес и Сино. Не разглашать место назначения. Сойти в С. Добраться берегом до Сетта-Кру, Нана-Кру. В Н.-К.— доктор В., ам. миссионер. В Вессерпор или Дио. Сказать, чтобы проводили к Нимли. Оттуда к Нью-Сесстауну и К. П.»

Это, по-видимому, проект одного из маршрутов, от которого мы отказались,— не хватило ни денег, ни сил. Я привез из Англии рекомендательное письмо к Нимли, верховному вождю сесстаунских негров, руководителю восстания на побережье в 1932 году. Это был тот самый Нимли, в борьбе с которым, как сообщал британский консул, пограничные войска Либерии под командой полковника Элвуда Дэвиса, североамериканского негра,

особого уполномоченного президента, убивали детей и женщин, жгли деревни, пытали пленных. Мир был с грехом пополам водворен, но отнюдь не с самим Нимли, который с остатками своего племени укрылся в непроходимых зарослях, тщетно рассчитывая на вмешательство белых. «Ни одному белому,— сказал мистер Д.,— не разрешается посещать берег, где живут кру, но, если взять билет на каботажное судно, которое ходит от Монровии до Кейп Пальмес, можно по пути высадиться в Сино, из Сино берегом пройти до Нана-Кру, а там поискать проводников — они укажут дорогу к местам, где скрывается Нимли».

Я рассказываю об этих неосуществившихся планах и непройденных маршрутах лишь потому, что они дают какое-то представление о путанице, царившей у меня в голове, когда я высадился во Фритауне. Никогда прежде я не покидал Европу; я ничего не смыслил в путешествиях по Африке. Я собирался пешком пересечь Либерию, но понятия не имел ни о том, как идти, ни о том, что нас ожидает в дороге. Разглядывая ненадежную карту, я смутно себе представлял, что мы проедем через Сьерра-Леоне до Пендембу, где железная дорога кончается, затем пересечем в ближайшем пункте границу и пустимся наискосок прямо к столице Либерии. По-видимому, нам предстояло переправиться через много рек, но я полагал, что там есть какие-нибудь мосты; разумеется, впереди был лес, но лес здесь повсюду. Одна более или менее надежная книга о Сьерра-Леоне упоминала онескольких старателей, искавших золото,— они пересекли границу Либерии в слывших необитаемыми лесах и больше не вернулись; но это было немного пониже того места, куда я направлялся (Либерия расположена на выпуклости африканской береговой линии, и я никак не мог запомнить, где здесь север и где юг).

В эту ночь мне приснился путаный, беспокойный сон: мне снились мистер Д. и таможня на границе. Я все время что-то забывал; я прибыл в таможню со всеми своими мешками и ящиками и мистером Д., упакованным в тюк, но забыл нанять носильщиков и у меня не было слуг. Я страшно боялся, что таможенный инспектор обнаружит мистера Д., а меня оштрафуют за контрабанду и заставят платить высокую пошлину.

Я попал во Фритаун в субботу, а поезд на Пендембу уходил в следующую среду; я надеялся, что слуги уже наняты и ждут меня, но Джимми Дейкер, которому обо мне писали и который уже давно обещал моим друзьям все устроить, просто позабыл о своем обещании. Это был странный человек — обаятельный, рассеянный, всегда под хмельком. Он постоянно сидел в баре Гранд-отеля, тянул виски, запивал его пивом, разглагольствовал о нацистах и о войне; начинал он с пацифистских заявлений, но после третьей рюмки готов был хоть сейчас снова встать под ружье — а лицо его бороздили шрамы, оставшиеся от прошлой войны. Джимми Дейкер не имел никакого представления, как мне найти слуг; впрочем, он охотно согласился, что было бы неразумно нанять кого-нибудь из тех, кто целыми днями толкается у порога гостиницы, предлагая свои услуги. Он не знал ни единого человека, хоть сколько-нибудь знакомого с Либерией. Никто в Сьерра-Леоне, по его словам, ни разу не пересекал либерийской границы.

— Кто, Джимми? — удивлялись все в один голос, когда я говорил, что он ищет мне слуг. — Бедняга Джимми ни черта в этом не смыслил.

В конце концов мне достались лучшие слуги во всем Фритауне. Слава моего старшего слуги Амеду гремела до самой границы, а Амеду подобрал второго слугу Ламина и старого повара магометанина Сури. И в какой-то степени я должен быть благодарен за это Джимми Дейкеру. Если бы я не навестил Джимми, чтобы выпить рюмочку на сон грядущий, я бы не познакомился с Папашей — Папаша прожил во Фритауне целых двадцать пять лет и знал всех местных жителей. Он был пьян как стелька. Сидя за рулем машины, он гнал ее вверх и вниз по холмам, словно нарочно выбирая самую плохую дорогу; его чуть было не арестовали, когда он сдернул фуражку с черного полицейского.

— Кто же не знает здесь Папашу? — вопрошал он, пытаясь в два часа утра въехать в закрытые ворота губернаторского дворца, чуть было не свалившись в кювет, а потом снова помчался в гору, в то время как часовые, вытянувшись в струнку, с невозмутимыми лицами смотрели вслед машине.

Мы с грохотом пронеслись мимо казарм (караульное помещение опустело: увидев машину, солдаты высыпали на лужайку, отдавая нам честь,— они мелькнули перед нами в зеленоватом полумраке, точно обитатели подводного царства), свернули с дороги на грязный проселок и, наконец, остановились у какой-то насыпи.

— Ах вы идиоты несчастные,— сказал Папаша.

Мы застряли высоко над Фритауном и были похожи на преступников, запертых в маленькую освещенную изнутри клетку.

— Вы бывали когда-нибудь в Африке? Вы знаете, что такое дальние переходы пешком? Чего это ради вас туда несет?

Это «туда» прозвучало так, словно он говорил о геенне огненной; впрочем, о тех местах Папаша судил лишь понаслышке, самому ему, разумеется, никогда бы и в голову не пришло...

Знаем ли мы, что нас ожидает? Есть у нас надежные карты? Нет, сказал я, таких карт достать нельзя. Есть у нас слуги? Нет. Предупредили мы хотя бы заранее окружающих комиссаров, чтобы нам приготовили ночлег? Нет, я и не знал, что это нужно сделать. А где же мы собираемся ночевать, когда перейдем границу? В деревенских хижинах.

— Идиоты несчастные,— повторил он.

Склонясь над баранкой, он чуть не плакал. Да имеем ли мы хоть малейшее представление о том, что такое деревенская хижина? А крысы, вши, клопы? Что будет, если в пути мы заболеем малярией, дизентерией?

— Надо что-то придумать,— заявил он и, круто развернув машину, погнал ее обратно вниз.

Но тут он переключился на свою излюбленную тему:

— Кто же здесь не знает Папашу?

В негритянском квартале он затормозил рядом с полицейским и высунул голову из машины.

— Кто я такой? — Полицейский подошел и неуверенно покачал головой. — Не знаешь? Поди сюда. Ближе. Теперь скажи: кто я такой? — Полицейский покачал головой и криво улыбнулся; он был испуган: наверно, это какая-нибудь игра, но он не знал, как в нее играют. — Кто я такой, черная образина?

В полосе света, отбрасываемой фарами, показалась молодая девушка; ей нечего было так поздно слоняться

по улице, и она хотела прошмыгнуть мимо, но Папаша ее заметил.

— Эй, ты,— сказал он, высунув голову в противоположное окно.— Поди сюда.— Девушка подошла к машине; она была слишком хорошенькой, чтобы пугаться чего бы то ни было; ее маленькие крепкие остроконечные груди были обнажены.— Объясни ему, кто я такой,— сказал Папаша. Она улынулась. Ее не пугали никакие игры.— Ты знаешь, кто я?

Широко улыбаясь, она заглянула в машину.

— Папаша,— сказала она.

Папаша дружелюбно похлопал ее по щеке и включил скорость. Он был горд, словно ему удалось нам что-то доказать.

— А вы подумали о пиявках? — спросил он.— Они падают на голову прямо с деревьев.

Мы остановились у дверей гостиницы. Деревянный пол и лестница кишели муравьями.

— Придется мне что-нибудь придумать, не могу же я бросить вас на произвол судьбы,— бормотал Папаша; он клевал носом над баранкой.

На рассвете послышались стоны, это брел по улице какой-то умалишенный; я уже слышал его стоны накануне. Я выбрался из-под москитной сетки, чтобы посмотреть, как он волочит свои лохмотья сквозь серую предутреннюю мглу, мотая головой и мыча по-звериному. Железные крыши пустовали — в такую рань не видно было грифов. Есть ли у грифов гнезда? Не было и летучих мышей, которые к семи часам вечера тучей повисали над городом.

Как ни странно, Папаша не забыл своего обещания. Рано утром он явился в гостиницу и сообщил, что слуги ждут во дворе. Я не знал, что им сказать. Они глядели на меня с нижних ступенек наружной лестницы, ожидая приказаний: Амеду, человек лет тридцати пяти с серым бесстрастным лицом прижимал к груди феску; рядом с ним стоял повар Сури, беззубый старик в длинном белом одеянии; второй слуга, Ламина, казался совсем еще мальчиком, на нем были трусы и короткая белая куртка вроде тех, какие носят парикмахеры, голову его покрывала вязаная шапочка, увенчанная алым помпоном. Прошло несколько дней, прежде чем я запомнил их имена, а понимать все, что они говорят, я так никогда и

не научился. Я велел им прийти на следующий день, но они сразу же прочно обосновались в гостинице: Амеду и Сури то и дело вырастали передо мной в коридоре — склонив голову, они молча прижимали к груди феску. Я никак не мог догадаться, что им нужно, они же всякий раз ждали, чтобы я заговорил. Лишь значительно позже я понял, что Амеду был смущен не меньше моего. Я еще и представить себе не мог, как я привяжусь к этим людям впоследствии.

Нашим отношениям суждено было стать почти такими же близкими, как отношения между возлюбленными; порой нам бывало трудно сладить со своими нервами, нас одинаково раздражали всевозможные проводочки. Но наша совместная жизнь закончилась так же, как и началась, а потому, когда она пришла к концу, ее словно и не бывало. На память о близком человеке у вас остается обычно множество всякой всячины: письма, общие друзья, портсигар, какая-нибудь побрякушка, несколько патефонных пластинок, излюбленные места, где вы виделись. А у меня не осталось ничего, кроме нескольких фотографий, напоминавших мне, что когда-то я знал этих троих людей. Я никогда больше не увижу поселков, где мы побывали вместе, и не встречу их там невзначай*.

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Все казалось нам необычным с той самой минуты, как мы протолкались через толпу, собравшуюся на вокзале Уотер-стрит, чтобы поглазеть на отход поезда (это повторялось регулярно два раза в неделю), и помахали на прощание Юнгеру, потерявшемуся за плотной стеной черных лиц. Я чувствовал, что начинаю понимать моих соотечественников, любителей перекинуться в карты: в чужом месте нужна какая-то точка опоры, хотя бы дветри знакомые и понятные вещи, — пусть даже это будет детективный роман или рюмка коктейля. Ведь даже путешествие по железной дороге и то было ни на что не похоже. Поезд ползет по местной узкоколейке неверо-

* Шесть лет спустя, когда случайности войны снова привели меня во Фритаун, я нашел Ламину и спросил его об Амеду. Он громко рассмеялся. «Старый повар, — сказал он, — старый повар в порядке, но Амеду... он уже под землей». — *Прим. автора* (1946).

ятно медленно (за два дня мы сделали всего двести пятьдесят миль). В нем три купе первого класса. Опытный путешественник (такой нашелся и в нашем составе) занимает среднее, совершенно пустое купе и водружает там свой собственный шезлонг; два других купе снабжены плетеными креслами.

Мы двинулись в путь и все время ужасно боялись поступить не так, как положено: этикет путешествий по первобытным местам не менее строг, чем правила вновь открытого клуба. Никто в Англии не предупредил меня насчет среднего купе, и только теперь я понял: мне следовало воспользоваться привилегией белого и оставить его за собой. Вдобавок ко всем этим переживаниям я испытывал страх перед первой встречей с каким-нибудь вождем: мне сказали, что вождь преподнесет мне «подарок» (по всей вероятности, курицу, яйца или рис), а мне придется в свою очередь «одарить» его деньгами; при этом я должен обменяться с ним рукопожатием и выказать дружелюбие, но не допускать фамильярности (приятно было сознавать, что в Либерии мне больше не придется беспрестанно чувствовать свою принадлежность к господствующей расе).

Вопрос о подарках был и в самом деле довольно сложным. Во время путешествия нас «одаривали» не только общепринятой курицей (ценой в 6 или 9 пенсов, в зависимости от качества; ответный «подарок» — он всегда должен был немного превышать стоимость полученного «дара» — 1 шиллинг или 1 шиллинг 3 пенса *). Нас «одаривали» также яйцами (ответный «подарок» — 1 пенс за яйцо), апельсинами и бананами (цена — 3 пенса за сорок штук; ответный «подарок» — 6 пенсов); нам случалось даже получать в «дар» козу, дрессированную обезьянку, десяток ножей, кожаный кисет, не говоря о бесчисленных бурдюках с пальмовым вином. Было не так просто определить цену каждого из этих «даров», и прошло немало времени, прежде чем я преодолел неловкость, с которой совал шиллинг в руку вождя.

Мистер Д. сообщил мне, что еще на территории Сьерра-Леоне я могу повстречаться с тремя вождями — с вождем Кумба и вождем Фомба в Пендембу, на конечной железнодорожной станции, и с вождем Момно

* В 1 шиллинге — 12 пенсов.

Кпаньяном в Кайлахуне, нашей последней стоянке по эту сторону границы. Вождь Момно Кпаньян был настоящий богач, и одна мысль о том, что мне надо будет «одарить» его несколькими шиллингами, отравляла всю поездку.

Никогда еще мне не было так жарко и так душно; стоило опустить штору в окне маленького пыльного купе, как прекращался всякий приток воздуха; если же мы поднимали штору, солнце немедленно накаляло плетеные кресла и деревянный пол, и мы обливались потом.

За окном разворачивался пыльный ландшафт Сьерра-Леоне, словно кусок скучной ткани на прилавке мануфактурного магазина: преобладали серые и тускло-зеленые тона, все вокруг было выжжено солнцем за время сухого сезона, приближавшегося теперь к концу. Дребезжа и раскачиваясь, поезд шел со скоростью пятнадцати миль в час, бесцеремонно врываясь в попадавшиеся на пути деревни; мы проезжали на расстоянии вытянутой руки от хижин; дети возились в пыли, а взрослые отдыхали в рваных гамаках, развешанных под соломенными навесами. Лесные заросли выглядели так же неряшливо и скучно, как запущенный уголок заднего двора, куда каким-то чудом занесло из окна гостинной семена аспидистры, и она расцвела среди сухой травы и высоких поникших сорняков.

Чем дальше, тем больше падали цены на апельсины — от 6 штук на пенс во Фритауне до 15 штук на пенс по ту сторону реки Бо. Поезд останавливался на каждом полустанке, и женщины тесной шеренгой выстраивались вдоль полотна. Вид нагого тела еще не успел нам надоесть, а может быть, женщины здесь были красивее и стройнее, чем те, которых я позже встречал в Либерии. Любопытно, как быстро отделяешься от эстетических представлений белого человека. Эти длинные груди, ниспадавшие плоскими бронзовыми складками, вскоре начинают казаться красивее маленьких округлых незрелых грудей европейских женщин. Дети сосали молоко стоя; они подбегали к материнской груди парами, как ягнята, и, как ягнята, припадали к соскам. Впрочем, хотя понятие о стыдливости сузилось, оно еще не исчезло окончательно. Мы переезжали через реку Мано; далеко внизу, ярдах в ста от железнодорожного моста,

купались местные жители: когда проходил поезд, они прикрыли срам руками.

Путешествие по железной дороге началось около восьми часов утра и прервалось вечером в начале шестого; первый этап поездки заканчивался в Бо; здесь поезд и пассажиры дожидались утра. Днем мы незаметно выехали за пределы колонии и очутились в протекторате. Изменились не только природа и управление — изменились и нравы. Здесь англичане остерегались обзывать местных жителей «проклятыми черномазыми», не задирали нос и не издевались над ними; им тут приходилось иметь дело с аборигенами Африки, коренной же африканец вызывает к себе любовь и уважение. Нельзя смотреть на него сверху вниз: пусть о некоторых вещах вы знаете больше него, зато о других он знает больше вас. В целом же то, что знает он, было здесь куда более существенно. Вы не умеете заклинять молнию, как он, ваше ружье бьет не намного дальше, чем его отравленное копьё, и, если только вы не врач, он куда скорее вашего вылечит змеиный укус. Здешние англичане были умнее, гибче тех, которые осели на Берегу, и большие патриоты — они любили в своей стране не только внешние ее приметы; да и напрасно было бы пытаться воссоздать здесь уголок Англии при помощи нескольких железных крыш, прошлогодней афиши и привычной выпивки в баре.

Может быть, этим людям больше повезло или проще было сохранить свой уклад — ведь легче воссоздать духовные, чем материальные ценности. Но попробуйте сбросить искусство своего народа в душе — ведь в Западной Африке книги гниют, пианино расстраиваются и коробятся даже патефонные пластинки.

Возле железнодорожного полотна нас ожидал сержант Пенни Карлейл, курьер окружного комиссара. Он был в трусах и босиком, но под мышкой у него щеголевато торчал стек, надетая набекрень фуражка напоминала фуражку посыльного Викторианской эпохи, на кителе блестели медали, а его выправке и исполнительности позавидовал бы любой сержант гвардии. Он отдал приказ сопровождавшим его носильщикам, провел нас к дому для приезжающих, раздавил ногой жука, щелкнул голыми пятками и удалился. Повсюду расхаживали цапли, похожие на стройных белоснежных уток с жел-

тыми клювами. Их изящество и чисто восточная красота подчеркивали разительный контраст с Фритауном; грифов не было и в помине. И внезапно, неизвестно почему, мне стало хорошо в этом квадратном приземистом доме на цементных сваях, которые спасали здание от термитов; зажглись фонари, и на тарелках у нас появились остатки жесткой, сухой и безвкусной курицы, привезенной с Берега. В ванной комнате я увидел таракана, превосходившего размерами майского жука, койки здесь не были защищены москитными сетками, где-то мы забыли медицинскую сумку, за которую я заплатил в Лондоне четыре с половиной фунта, у порога весь вечер простоял негр — он жаловался на что-то, молитвенно сложив руки, — а все-таки мне было хорошо, словно нечто, чему я не доверял, осталось у нас позади.

В этот теплый, тихий вечер мы сидели на лужайке перед домом директора школы, под деревом, усыпанным восковыми цветами, похожими на магнолии; мы пили джин с лимонным соком и слушали рассказы о Либерии. У меня было письмо к молодому голландцу К. — говорили, что он где-то в Либерии ищет алмазы. Начальник управления торговли слышал о нем; К. перебрался через границу где-то в районе Пендембу и, по слухам, нашел алмазы. Он старательствовал в одиночку, работая на какую-то маленькую голландскую компанию, не входившую в могучий Трест. Как гласил рассказ, слухи о его находке встревожили Трест: если бы в Либерии стали добывать много алмазов, Трест больше не сумел бы контролировать цены. И вот по следам К. послали шпионов из Сьерра-Леоне, Французской Гвинеи и с Берега Слоновой Кости: заправилам Треста нужно было узнать правду, от этого зависела цена на алмазы и их собственное благополучие.

Отличный рассказ — особенно интересно было его слушать в ночной тьме неподалеку от границы страны, о которой никто в Сьерра-Леоне не мог мне ничего рассказать. Отличный рассказ еще и потому, что в нем ничего не договаривалось до конца, а увлекательный сюжет нес серьезную тему; он проливал свет на самые разные стороны жизни, в нем была и сатира, и социальная идея, и человеческая психология; недоставало только личного знакомства с героем, чтобы обогатить рассказ подробностями; однако я боялся встретить К., мне не хотелось, чтобы эту

романтическую повесть принизили факты реальной действительности.

В Сьерра-Леоне бесполезно было расспрашивать кого бы то ни было о Либерии. Ни одна живая душа ни разу там не бывала; если кто-нибудь и пересекал границу, он шел в обратном направлении — из Либерии в Сьерра-Леоне.

Несколько лет назад Сьерра-Леоне посетил президент Кинг, который вскоре после этого вынужден был подать в отставку в результате разоблачений комиссии Лиги наций*. Его принимали с королевскими почестями; ему устраивали банкеты и приемы, салютовали из пушек, словно королевской особе. Президент так никогда и не узнал, что на нем просто практиковались, нужно было подготовиться к предстоящему приезду принца Уэльского; пушечные салюты были простой репетицией, комитеты по приему принца Уэльского испытывали свою программу на президенте Кинге. Позднее, по пути домой, президент заехал в Бо. Он собирался пересечь сухопутную границу под охраной своих войск: президенту небезопасно было путешествовать по землям управляемых им племен без надежного эскорта из двухсот солдат. В его честь в Бо был дан парадный обед; все шло как по маслу почти до самого конца; тосты следовали один за другим. Но, когда президент поднялся из-за стола, вышла заминка. Полковник, командовавший пограничными войсками Либерии, развеселился и не желал прерывать празднества.

— А ну-ка, сядь, господин президент,— сказал он.— Мне хочется выпить еще коньяку.

Прошло несколько дней, и президент надоед хозяевам; они проводили его с подобающими почестями до границы, но ошиблись местом: пограничные войска ждали в Фойе, а Кинга доставили в Кабавану. Перепуганный насмерть президент и его спутники уселись на земле в томительном ожидании, а взвод британских войск пустился в обратный путь, бросив их на произвол судьбы.

* Колониальные державы затеяли в Лиге наций «расследование» условий принудительного труда. «Комиссия по расследованию» сосредоточила свой огонь на Либерии: это был маневр колонизаторов, рассчитанный на то, чтобы отвлечь внимание от гнета в колониях империалистических держав.

Как выяснилось впоследствии, мне нечего было опасаться встречи с искателем алмазов. Рассказ о нем так и остался неоконченным, неясным, полным недомолвок. Шестимесячное пребывание в Либерии будто бы подорвало здоровье К., и ему пришлось вернуться на родину. Об этом я узнал на следующий же вечер в Пендембу в маленькой немецкой лавчонке, где мне советовали навести о нем справки. Поезд вышел утром из Бо в начале десятого и прибыл в Пендембу к вечеру. Все мои продукты следовали транзитом, а в Бо я купил еще консервов в лавке фирмы П. З. В лавках этой фирмы можно купить все что угодно — любые напитки, консервы, одежду, скобяные товары и даже средства от гонореи (П. З. имеет филиалы на всем Берегу, а также в Либерии; это манчестерская фирма, нечто вроде западноафриканского Селфриджа *, и в тех городах, где нет гостиниц, белый человек всегда может найти приют в лавке П. З.).

В Пендембу нас ожидал еще один посланец британской короны, а также грузовик, который должен был доставить нас в правительственный дом для приезжих в Кайлахуне. Но сперва я заглянул в магазин *Deutsche Kamerun Gesellschaft* **, чтобы справиться о К.

— Вы найдете его спутника, господина Ван-Гога, где-нибудь в окрестностях Болахуна, — сообщил немец-управляющий.

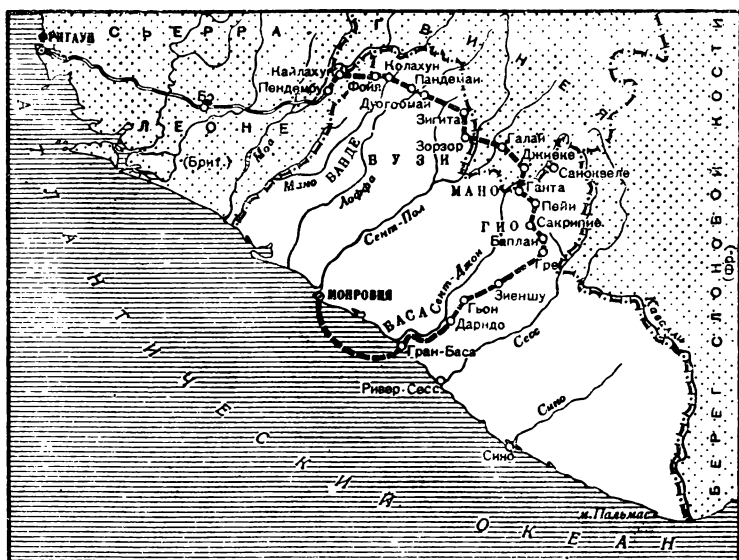
Господин Ван-Гог искал не только алмазы, но и золото. В этом районе он бродит уже девять месяцев. Сейчас он либо в Болахуне, либо где-нибудь в лесу. Ничего больше о нем не известно.

Верховный вождь поджидал нас возле грузовика; это был маленький человечек в одежде из домотканой материи, голову его украшала кокетливая вязаная шапочка. Нам нечего было сказать друг другу; мы обменялись рукопожатием и улыбками, после чего грузовик тронулся в путь.

Старенький мотор перегревался, и металл жег мне ноги сквозь подошвы туфель; шофер был не обут. Целый час мчались мы с бешеной скоростью по проселочной

* Фирма, охватившая всю Англию сетью универмагов.

** Германской камерунской компании.



дороге, то взлетая на холм, то стремительно скатываясь вниз; впрочем, ощущение головокружительной скорости было обманчивым, его создавали толчки, подпрыгивавший за окном машины пейзаж, запах бензина и жара; вряд ли грузовик делал больше двадцати миль в час. Машины все еще редки в этом уголке Сьерра-Леоне; встречные мужчины карабкались на придорожную насыпь, женщины спасались в кусты или, закрыв лицо руками, опускались на корточки у насыпи, в то время как, наводя на них трепет, мимо пронеслась сама цивилизация, окутанная зловонным дымом.

Когда мы приехали в Кайлахун, там было всего двое белых — окружной комиссар и инженер-шотландец, руководивший постройкой моста; но вечером появился третий — незнакомец с черной бородкой и бритой, как у монаха, головой, в майке и грязных парусиновых брюках. Комиссар прибыл тем же поездом, что и мы: он выезжал на станцию Сегбвана расследовать дело об убийстве, приписывавшемся тайному обществу Гориллы. Кто-то похитил и убил ребенка, а какая-то женщина клялась, что видела гориллу и что горилла была в штанах.

Какой-то мужчина сознался, но никто из чиновников не верил, что он настоящий убийца. Правда, при нем нашли нож с искривленными зубцами, оставлявший рваные раны; за одно хранение такого ножа полагалось четырнадцать лет тюремного заключения. Комиссар — невысокий брюнет, умный, подвижной и впечатлительный — был в этих местах новичком; что-то неладное случилось с тремя его предшественниками. Уж много лет округ раздирался пограничными распрями между двумя вождями: ходили слухи, что в пищу тут порой подмешивают «лекарство», а через месяц комиссар снова должен был остаться один как перст (инженер собирался уехать). Комиссар получал новинки из книжного клуба газеты «Таймс»; прочитав, он ставил их на полку, и там они гнили.

Инженер забился в угол и молча курил. Он не читал книг и не умел поддерживать беседу; этому седому, кряжистому, медлительному человеку можно было дать лет шестьдесят; просто не верилось, что ему не так давно пошел пятый десяток. По его словам, одиночество было ему нипочем; он чувствовал себя здесь отлично, даже лучше, чем в Англии. Но он умалчивал о том, что у него пошаливают нервы.

— Вас тут дожидается человек из Либерии, — сказал окружной комиссар.

Это было именно то, чего я боялся, — приставленный к нам провожатый будет следить за тем, чтобы мы не отклонялись от предписанного властями маршрута. Окружной комиссар послал за человеком из Либерии слугу, а тут как раз и появился незнакомец в майке и грязных штанах. Каждый из нас решил про себя, что незнакомец и есть провожатый, никто не поднялся с места и не предложил ему выпить; этот человек с бритой головой и дикой козлиной бородкой был Врагом. Он терпеливо стоял и молча выслушивал распоряжения комиссара.

— Ты покажешь этому джентльмену дорогу в Болахун. Он отправится послезавтра. Ты знаешь, как найти миссию Святого креста?

Да, знает, он как раз оттуда.

Прошло немало времени, прежде чем его догадались спросить, он ли человек, присланный из Либерии. Нет, тот куда-то исчез, незнакомец же был немцем. Ему нужен был ночлег, и он завернул в Кайлахун невзначай,

словно в какую-нибудь немецкую деревню, где наверняка можно найти гостиницу. Вел он себя непринужденно, но с какой-то вежливой загадочностью; по его словам, он пришел из Либереи и снова туда возвращается; ни малейших подробностей о том, зачем он пришел, почему возвращается назад и что вообще делает в Африке, он не сообщил.

Я принял его за золотоискателя, но позднее обнаружилось, что он не имеет ни малейшего отношения к такой грубой материи, как золото или алмазы. Он просто изучает жизнь. Откинувшись на стуле с видом полнейшего безразличия ко всем окружающим, он только усмехался, когда ему задавали вопрос (при этом вам казалось, что вы сморозили какую-то чушь), и отвечал после такой долгой паузы, что вы уже успевали забыть, о чем спрашивали. Несмотря на бородку, он был еще молод и, хотя одет как последний проходимец, держался аристократически, а ума у него было явно больше, чем у нас всех, вместе взятых. Ведь ему одному было твердо известно, что именно он хочет разузнать и что от него еще скрыто. Он говорил на менде, изучал бузи и мог с грехом пополам объясняться на пелли: языки требовали времени, а он находился в Западной Африке всего два года.

Все это я обнаружил лишь постепенно — он ни словом не обмолвился о своих делах на следующее утро за завтраком. В чистой рубашке и бежевых брюках он выглядел еще аристократичнее, чем накануне; в руках он держал трость с набалдашником из слоновой кости; на голове у него был белый тропический шлем, а в зубах торчал длинный мундштук. Он просто нанес нам визит вежливости, но все мы были ему совершенно безразличны; его интересовало только то, что он желал изучить, а у нас ему нечему было научиться, это он понял с первого взгляда. Мы забросали его вопросами, а он напустил на себя еще большую таинственность. Бывал ли он когда-нибудь в Африке, прежде чем появился два года назад в Либереи? Нет, никогда. Столкнулся ли он здесь с трудностями? Нет, ответил он с тонкой усмешкой, все обошлось очень просто. Чинят ли каверзы таможенники на границе? Что ж, это конечно бывает; что касается его, то ему никаких каверз не чинят — ведь его здесь знают. Стоит ли дать таможенникам взятку? Это был один из тех вопросов, на которые он так и не ответил; с ласковой

улыбкой стряхнул он на глиняный пол пепел папиросы и промолчал. Майские жуки влетали и вылетали в открытые окна, а он все сидел и курил, опустив голову на грудь. Нет, он больше не хочет печенья. Прошло несколько минут, прежде чем он заставил себя дать нам один-единственный совет: роль учителя настолько же утомляла его, насколько ему нравилась роль ученика. Во время стоянки в миссии Святого креста, сказал он, неплохо было бы навестить либерийского комиссара в Колахуне. Это порядочный негодяй; он способен испортить нам все дело; к тому же в течение недели по прибытии в Либерию полагается обзавестись видом на жительство. Тут немец поднялся и поспешно ушел, размахивая тростью с набалдашником из слоновой кости, сдвинув тропический шлем набекрень, поглядывая по сторонам, изучая здешнюю жизнь. Когда-нибудь (на то, чтобы выудить у него такое признание, ушла целая неделя) он собирается защитить диссертацию в Берлинском университете (сам он родом из Гамбурга, но д-р Вестерман преподает в Берлине, и он надеется заслужить одобрение этого великого ученого-африканиста).

Мы встретили его снова среди приземистых домишек далеко растянувшейся деревни. Над хижинами возвышался новый дом вождя — нелепый железобетонный небоскреб с рядами неоткрывающихся окон из цветного стекла; где-то в уголке пристроилась некрашеная дверь, к которой вели потрескавшиеся деревянные ступени. Дом принадлежал Момно Кпаньяну, одному из самых богатых вождей во всем протекторате. На базаре мы разменяли деньги: пенс был здесь слишком крупной суммой, ходовой валютой служили железки. Стоимость железок постоянно менялась; при желании ими можно было спекулировать. В тот день по курсу давали двадцать железок на четыре пенса. Это были полоски длиной около четырнадцати дюймов, немного похожие на грубо сделанные стрелы; полагалось, чтобы острия не были затуплены и хвосты не обломаны (это, как и чеканное ребро на наших монетах, свидетельствовало, что деньги не обесценены). Люди шли на базар, неся на головах по несколько сот железок в связках.

Теперь Кайлахун вспоминается мне как очень опрятное место, одна из самых чистых деревень, в каких нам доводилось останавливаться; но тогда меня потрясли

грязь и болезни, дети со вздутыми животами, отправлявшие естественные потребности прямо посреди дороги, где бродили козы и куры, женщины с изъеденными оспой лицами, вымазанные с ног до головы белым соком какого-то лесного растения; это притирание применялось как косметическое и целебное средство: им лечились от оспы, лихорадки, зубной боли, несварения желудка — словом, от всех и всяческих недугов, свирепствовавших под палящим солнцем Африки; в ранней молодости оно помогало от головной боли, потом им мазали живот, чтобы облегчить роды, а когда женщина лежала на смертном одре, оно белело, как соляные отложения, на ее высохшей груди и тощих бедрах. Здесь вы могли познать подлинную цену цивилизации; попав в какую-нибудь из деревень Либерии, где цивилизация вообще не продвинулась в глубь страны дальше пяти-десяти миль от побережья, я вспоминал Кайлахун и не видел существенной разницы.

Цивилизация означает здесь эксплуатацию. Мне кажется, мы едва ли хоть чем-нибудь облегчили судьбу местных жителей. Они так же страдают от лихорадки, как и до появления белых, мы принесли им новые болезни и ослабили их сопротивляемость старым, люди по-прежнему пьют грязную воду, их по-прежнему мучают глисты, они все еще целиком предоставлены произволу вождей — что, в самом деле, может знать о них окружной комиссар, вечно перебрасываемый из округа в округ, понимающий на местном наречии всего два-три слова и целиком зависящий от переводчика? Что касается Сьерра-Леоне, то цивилизация выразилась здесь в железной дороге до Пендембу и в возросшем экспорте кокосовых орехов; но она воплотилась и в концерне «Леверс», диктовавшем свои цены, и в длинной стойке бара «Гранд-отеля», и в шести пенсах за день тяжкого труда. Это совсем не похоже на цивилизацию в нашем понимании — цивилизацию церковей Суффолка и замков Котсуолда, цивилизацию Крома* и Вогана**. Деятельность окружного комиссара нередко сводилась к защите местного населения от той цивилизации, которую он же представлял.

* Джон Кром — английский художник-пейзажист (1768—1821).

** Генри Воган — английский поэт (1622—1695).

«Благородного дикаря» больше нет и в помине; а может быть, его никогда и не было. Но вы встречаете здесь подростков (среди тех немногих, что не обезображены грыжей), на лицах которых сквозь налет нашего времени проглядывает что-то прелестное, радостное и непорочное — такой была девушка, которую мы увидели в то утро: она поднималась в гору, кусок яркой материи был обернут вокруг ее бедер, солнечные лучи падали на темную грудь, на лодыжках сверкали серебряные браслеты, на голове она несла желтый кувшин.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Кайлахун находится на границе Французской Гвинеи; вероятно, поэтому сюда перенесли из Пендембу канцелярию окружного комиссара. В Кайлахуне нет ни железной дороги, ни телеграфа: чтобы связаться с Фритауном, комиссар должен отправить посыльного за восемнадцать миль в Пендембу. Трудно себе представить, как он поддерживает режим пограничной полосы: местные жители свободно переходят границу в любом направлении; больше того, можно пересечь всю Западную Африку, не предъявляя никаких документов с самого момента высадки на Берегу. Есть что-то очень привлекательное в этой «свободе передвижения» на таком огромном пространстве. Обанкротившиеся финансисты нашли бы в африканских лесах отличное пристанище. Тут нетрудно схорониться на весь остаток жизни, а необходимый для этого капитал незачем держать в банке — он уместится в одном кармане, недаром в этих местах полтора десятка апельсинов стоит один пенс, курица — шесть пенсов, а заработная плата, если вы заберетесь в глубь страны, составляет всего три шиллинга в неделю, и, как я убедился, можно целую неделю кормить тридцать человек за каких-нибудь тридцать шиллингов.

В тот день мы отправились на прогулку во Французскую Гвинею. Граница проходит по реке Моа — она здесь вдвое шире Темзы у Вестминстера. Мы переправились в челноке, выдолбленном из ствола дерева, стоя во весь рост и балансируя, чтобы нас не опрокинуло. Это было несложно, но жутковато — в Моа водятся аллигаторы. Любопытно, что эта граница, которая проходит по руслу

реки, затерявшейся в безлюдных зарослях, граница, на которой не спрашивают паспортов, не досматривают багажа, не чинят никаких препятствий кочевникам, оказалась не менее отчетливой, чем любой государственный рубеж в Европе: выйдя из челнока, мы очутились в совершенно другой стране. Даже природа изменилась: вместо лесной извилистой дороги, по которой — хотя и не без труда — могла пройти машина, здесь раскинулась безлесная степь, поросшая высокой травой, по ней прямо вдаль убегала узкая тропа. На раскаленной, потрескавшейся от зноя земле валялась змеиная кожа. Согнувшись под тяжестью кокосовых орехов, набитых в мешок из плетеной травы, брели негры; они чем-то напоминали стрекоз в мультипликационном фильме. Целых полтора часа мы шли, так и не встретив на пути деревни, и, наконец, повернули обратно, к Сьерра-Леоне. По словам инженера, тропа тянулась прямо до Конакри на побережье, и нас снова охватило радостное чувство свободы: здесь можно пойти, не сворачивая, по какой-нибудь тропинке, и ты пересечешь целый континент.

Обливаясь потом на солнцепеке, а затем остывая в тени, трудно было поверить, что эта часть Африки пользуется такой скверной репутацией: забывались и мучения К., и большое население деревень. Я еще не заметил ни одного москита, а ежедневная порция хинина (пять гран) казалась пустым изводом лекарства.

Но все это было днем; когда же стемнело и мы, сидя в пустом домике инженера, прихлебывали теплое пиво, здешние места стали внушать мне недоверие. Хозяину было сорок пять лет, а на вид шестьдесят: пятнадцать непржитых лет и морщины требовали какого-то объяснения. Он снова заявил, что здесь ему живется чудесно; в Англии было трудно осесть на одном месте надолго; жена его человек раздражительный, сюда она не приезжает: Западная Африка ей не по душе, она даже мошек боится...

Тем временем мошкара тучами влетала в раскрытые окна и падала, опаленная, у фонаря; жуки со стуком ударялись о стены и потолок и сыпались нам на голову. Ему самому насекомые нипочем, говорил инженер, то и дело вскакивая со стула, прихлопывая мошек, давя каблуками жуков. Он ни секунды не мог усидеть на месте. Единственное, чего он боится, продолжал он, это слонов.

Как-то раз он наблюдал за охотой, стоя возле своего мотоцикла, и тут на него бросился слон; животное было в каких-нибудь ста ярдах, а мотоцикл завелся не сразу. Мотор заработал, когда слон был всего в десяти шагах; проехав четверть мили с большой скоростью, инженер оглянулся и увидел, что слон не отстаёт ни на шаг. Тут наш собеседник снова вскочил со стула и погнался за жуком, но тот не дал себя поймать и взлетел под потолок. Он не чувствует одиночества, утверждал инженер, и не знает, что такое нервы — он хлопнул ладонью по стене; у него всегда есть какая-нибудь забава: в прошлый приезд он увлекался радио, ещё раньше — бабочками, а сейчас — машиной.

— Ну и шумят же эти жуки, — пожаловался он вдруг. — Спать по ночам не дают.

— Они же летят только на свет, — сказал я.

— Да, — откликнулся он, — но я никогда не гашу ночью свет.

Он не в силах был оторвать глаз от жуков, носившихся по пустой комнате. Откуда-то слышалась музыка; звуки доносились из деревни. Инструмент был похож на арфу; мелодии нельзя было уловить — одни и те же ноты звучали снова и снова.

— Как жаль, что вы завтра уходите, — сказал инженер.

Он повторял это так часто, что нельзя было ему не поверить, хотя он тут же клялся, что не чувствует одиночества и что здешняя жизнь ему по душе.

В то утро я отправил нарочного с письмом к отцу настоятелю миссии Святого креста в Болахуне. В отправке гонца, которому предстоял целый день пути, была прелесть средневековья. Гонцу не платят вперед: на обратном пути он встречается там где-нибудь на дороге, а дорога представляет собой узенькую тропинку в чаще, пересекаемую на каждом шагу другими тропинками. Но посыльные никогда не сбиваются с пути: на них можно положиться, как на английское почтовое ведомство. Как-то раз письмо надо было доставить немедленно, и я отправил гонца ночью, снабдив его керосином для фонаря; с кинжалом на перевязи, воткнув письмо в расщепленную палку, он бросился в окутанный мраком лес.

Мы выступили в путь двадцать шестого января; в Лондоне шел снег, во Фритауне свирепствовала желтая

лихорадка, а в Кайлахуне над выжженной степью стелился утренний туман. Пятнадцать миль до самой границы можно было проехать по дороге; я заказал к семи часам утра два грузовика — для себя и для немца, которого сопровождали носильщики из Либерии. От границы до миссии было еще двадцать миль, а мне хотелось добраться засветло. К тому же я понятия не имел, как долго нас задержат в таможне. Но мы дождались только одного грузовика, да и тот опоздал на час с четвертью. Немец сказал, что нам с двоюродным братом вряд ли удастся попасть в Болахун до ночи — ведь у нас был всего один гамак, а его аристократическое сознание не могло допустить мысли, что европеец будет тащиться пешком вместе с носильщиками, спотыкаясь и выбиваясь из сил на пыльной тропе. У него самого был стул, привязанный к двум шестам, и он величественно восседал на нем, покачиваясь над головами своих людей. Но мне приходилось думать о деньгах: для гамака, который несли четыре человека, требовалось не меньше шести носильщиков, и пройдя пешком от Биеду до миссии, я сэкономил семь шиллингов и шесть пенсов. Все мы взгромоздились на единственный грузовичок (трое белых, трое слуг и одиннадцать носильщиков, не считая тридцати тюков багажа), и машина неуверенно двинулась по ухабистой дороге сквозь утреннюю дымку. Над влажными от росы кронами пальм остриями поднимались отвесные скалы, между скалами проходила дорога.

Меня раздосадовала задержка в Кайлахуне. Я еще не привык к мысли, что время — как мера длительности — осталось позади, на Берегу. В глубине Африки такое понятие, как время, отсутствует; вдобавок даже самые лучшие часы не выдерживают тамошнего климата. Рано или поздно они останавливаются. Сперва испортились мои часы и часы двоюродного брата; потом я переменил еще шесть пар дешевых часов, купленных для «подарков» в лондонском универмаге. Только одни часы дотянули до побережья, но и они давно перестали показывать верное время: когда наступала темнота, я просто переставлял стрелки на 6.30, когда же мне хотелось встать утром пораньше, я передвигал стрелки вперед. Может быть, это и имел в виду Стенли *, когда, услышав

* Генри Мортон Стенли — путешественник и исследователь Африки (1841—1904).

в предсмертный час удары «Большого Бена»*, воскликнул, потрясенный: «Так вот что такое Время!»

Но на грузовике по дороге из Кайлахуна я еще верил, что мне удастся путешествовать по расписанию. Я полагал, что прямо из Болахуна мы двинемся на Монровию, столицу Либерии, и что не пройдет и двух недель, как мы достигнем цели. Я просто не поверил бы, если бы мне сказали, что через четыре недели мы будем стоять в центре совершенно незнакомого мне селения, в самом сердце Либерии, наблюдая, как сморщенная старуха, накликавшая молнию на свою деревню, несет на голове воду для своих товарищей по заключению в отвратительной маленькой тюрьме поселка Тапи-Та.

Прежде всего у меня не было денег для такого длительного путешествия. Во Фритауне я получил последние деньги по аккредитиву, и теперь у меня оставалось около двадцати пяти фунтов стерлингов в шиллингах, шестипенсовых и трехпенсовых монетах. Они лежали в несгораемом денежном ящике с висячим замком и составляли почти половину ноши одного носильщика. В Либерию не имело смысла брать что-либо, кроме серебра, да и то серебряные монеты, которые я взял с собой, вызывали кое-где забавные недоразумения. Одно из племен и смотреть не желало на монеты с профилем королевы Виктории: весть о ее смерти проникла сюда, в эту невероятную глушь, в такую глушь, где мы с братом оказались первыми белыми людьми, которых увидело нынешнее поколение; люди решили, что ценность монет умерла вместе с королевой. Позднее близ побережья, на земле племени баса, выяснилось, что никто не желает принимать обычные английские серебряные деньги с короной или желудями; здесь признавали только монеты Британской Западной Африки с пальмой. Но все эти затруднения были еще впереди; в тот утренний час меня беспокоили только проволоочки и необходимость добраться к ночи до Болахуна. Это были тревоги мало искушенного путешественника; в результате я зря утомлял носильщиков, вызывая их недоверие к себе. Позднее, я привык относиться ко всему спустя рукава — я просто шел вперед, а, пройдя сколько мог, останавливался в первой попавшейся деревушке, не зная даже, как она называется, целиком отдаваясь на волю Африки.

* Куранты на здании парламента в Лондоне.

В деревне Биеду меня ожидал вождь, а с ним — носильщики и переводчик. Поторговавшись, мне удалось снизить цену с шиллинга и шести пенсов за человека до шиллинга и трех пенсов; немец, никогда не плативший больше шести пенсов, наблюдал за мной с презрительной усмешкой. Наша кладь была разложена на земле посреди деревни, и я впервые увидел, сколько было у нас вещей: шесть ящиков с продовольствием, две койки, два стула, москитные сетки, три чемодана, палатка, которой мы так ни разу и не воспользовались, два ящика со всякой всячиной, ванна, узел с одеялами, складной стол, денежный ящик, гамак. Я почувствовал, что мне неловко перед моими слугами: каждый из них взял с собой лишь по маленькому плоскому чемоданчику.

Впоследствии я пытался определить, с каким минимальным количеством клади можно безнаказанно путешествовать по джунглям Западной Африки. Мое снаряжение стоило мне больше пятидесяти фунтов стерлингов, а накладные выглядели как опись багажа экспедиции на Эверест; но, пожалуй, было бы рискованно сократить этот груз больше чем на четыре ящика. В Западной Африке есть строгие пределы для путешествия налегке, как об этом свидетельствует рассказ о германском ботанике докторе Д.

Через неделю после того как я перешел границу, в центральной области Либерии, в маленьком городке Ганте, куда я попал четырнадцатого февраля, умер доктор Д. Его трагическая и благородная смерть была хорошо обдуманном самоубийством; она показала, что мир Гитлера, мир Дахау, концентрационных лагерей и нацистского чванства не так уж далек даже от этого уголка Африки. Доктор Д. провел в Западной Африке сорок лет. Перед войной он был германским консулом в Монровии, где служил агентом судоходной компании Верман, но уже тогда пользовался известностью в Гамбургском университете как ботаник. После войны он оказался первым немцем, который вновь занялся коммерцией в Либерии, но потерпел неудачу, влез в долги, а гитлеровская Германия, куда он вернулся, отнюдь не сочувствовала неудачникам. Этот семидесятилетний старик, оставшийся без гроша в кармане, не мог после со-

рока лет жизни на Берегу освоиться с Берлином, увешанным знаменами со свастикой, не мог равнодушно смотреть на демонстрации в Темпельгофе и на воскресные шествия под Бранденбургскими воротами — с барабанами, фанфарами и обнаженными штыками. Его интересовали тропические цветы, ему было безразлично, кто поджег рейхстаг. Гарвардский университет предложил ему небольшую сумму с тем, чтобы он вернулся в Либерию и собрал там ботаническую коллекцию. К тому времени в Монровии уже прочно обосновались гитлеровцы; доктор Д. пришлось не по нраву двум заядлым нацистам. Когда до них дошел слух, что он собирается остановиться в германской миссии, они заявили протест генеральному консулу, и в последние дни своей жизни Д. вынужден был искать пристанища в какой-то английской лавке. Не имея ни малейшего желания вернуться в Европу, доктор (хоть этого и нельзя доказать) предпочел умереть в Африке. Только этим и можно объяснить его безрассудное поведение. Он отправился в десятидневный поход из Монровии в Саноквеле через земли баса без гамака, без провианта, без койки и москитной сетки; вряд ли при нем было больше вещей, чем тогда, когда его тело несли из Ганты в Мюленбург, чтобы похоронить на кладбище лютеранской миссии. Он спал в деревенских хижинах, ел здешнюю пищу и умер от дизентерии.

Значит, есть свои пределы для путешествия налегке. Любой окружной комиссар в Сьерра-Леоне редко пускается в путь меньше чем с двадцатью пятью носильщиками, и при том в путь куда менее долгий, чем тот, который предстояло пройти нам; между тем мы одно время, когда двое наших людей заболели, обходились лишь двадцатью тремя носильщиками. В Биеду мне пришлось нанять двадцать пять — четверо из них несли гамак моего двоюродного брата. Двадцатимильный переход обошелся мне поэтому немногим больше тридцати шиллингов. Если нанимать носильщиков поденно, путешествие по Африке становится делом разорительным. К такому выводу пришел и Альфред Шарп *, по маршруту которого я следовал на первом этапе. Ему приходилось нанимать носильщиков от деревни до деревни, иногда две смены за одни сутки, платя из расчета по шил-

* Английский путешественник.

лингу на брата. В большей части деревень подыскать носильщиков было не так просто — случилось, что все люди работали в лесу или в поле, — так что чаще всего удавалось пройти не больше восьми миль в день. Я кое-что почерпнул из этого опыта и задержался в Болахуне на целую неделю, пока не нанял носильщиков, готовых следовать с нами до самого побережья; не говоря уже об экономии, я смог благодаря этому ежедневно в течение четырех недель проделывать больше двенадцати миль. Вождь в Биеду преподнес мне курицу, я преподнес вождю шиллинг. Повар Сури связал курице лапы, Амеду обошел и проверил кладь, немец устроился на своем подвесном стуле, и я приказал:

— Пошли!

Я чувствовал себя как юный лейтенант, который впервые командует своим взводом. Мне как-то не верилось, что стоит сказать «пошли» — и двадцать пять носильщиков тронутся с места. Я отошел в сторону и смотрел со странной смесью удовольствия и какой-то ребяческой гордости, как, подобно длинной заводной игрушке, пришла в движение вся колонна: сперва она дрогнула, потом выровнялась и зашагала через деревню по широкой дороге, которая вскоре сузилась и превратилась в тропинку, проложенную в слоеной траве; тропинка привела нас к переброшенному через ручей стволу дерева, а затем пошла извиваться по лесам и полянам и снова по лесам, пока не вышла часа через два на широкое плато, которое и оказалось границей.

Мы увидели три-четыре хижины, несколько стрелков в ярко-красных фесках с золочеными кокардами, либерийский флаг (точь-в-точь американский, только с одной звездой) и маленького человечка в поношенном шлеме с черными усами и желтой кожей; человечек вышел нам навстречу и поздоровался с плутоватым, возбужденным и торжествующим видом, точно хотел сказать: наконец-то ты мне попался, уж я ни перед чем не останюсь, уж я тебя подою. Да, конечно, сказал человек, он меня ждет, его предупредили.

Меня поневоле охватило какое-то торжественное чувство: дорога вперед через просеку была широкой, она манила, не то суля наслаждения, не то завлекая в ловушку; дорога назад, в Англию, была узкой, потайной, трудной.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗАПАДНАЯ ЛИБЕРИЯ

НА ОПУШКЕ ЛЕСА

Был полдень. Мы прошли за таможенником под соломенный навес, уселись на высоких неудобных стульях и закурили. Желтый человечек сидел против нас в гамаке и тоже курил, раскачиваясь взад и вперед. Я улыбнулся ему, он улыбнулся в ответ; это были улыбки вежливости, лишенные дружеского расположения. Человечек размышлял о том, сколько ему удастся из нас выжать, я о том, как бы отделаться подешевле. Какая-то женщина принесла ребенка, чтобы показать ему белых людей, и ребенок вопил не умолкая. Пограничники лениво бродили под отвесными лучами солнца и поплевывали себе под ноги; казалось, от зноя трескается коричневая земля. Я закурил вторую сигарету.

Тишину и неподвижность нарушило появление Ламина, он ворвался под навес словно маленькая бомба,

начиненная яростью. Он был похож на левретку, которую обидела огромная овчарка. Кто-то сказал, что ему придется платить пошлину за его белую парикмахерскую куртку на прорезиненной подкладке. Таможенный чиновник вежливо пошел на уступку, но это послужило сигналом к началу потехи. Я предъявил свои накладные, немец открыл небольшой чемодан и заплатил два с половиной шиллинга; чиновнику явно не терпелось приняться за крупную дичь, и немец покинул пограничный пост, покачиваясь над головами носильщиков. Чиновник принялся за мои накладные, солдаты поплевывали, скалили зубы и перебрасывались шутками, а я вытирал пот.

— На это уйдет целый день,— сказал таможенник.— Все, что здесь перечислено, кроме банки с английской солью, хинина и йода, облагается пошлиной.

Он объяснил, что позволит мне продолжать путь до Болахуна, если я сделаю предварительный взнос, потом он подсчитает и лишние деньги вышлет мне вдогонку; он прикинул, что сумма, пожалуй, составит около четырех с половиной фунтов. Я вынул из денежного ящика мешочек с шестипенсовыми монетами, стараясь, чтобы он не заметил револьвера. Но дело этим не кончилось. Пришлось заплатить еще по два цента за каждый из восьми таможенных бланков, на которых чиновник должен был перечислить облагаемое пошлиной имущество. Пришлось заплатить и за две гербовые марки, после чего я должен был расписаться под восемью пустыми бланками, подтверждая правильность того, что будет на них написано. Я оказался целиком во власти таможенника: он мог вписать в бланки все, что заблагорассудится. Но выбора не было, в противном случае мне предстояло задержаться здесь на всю ночь и согласиться на вскрытие всех моих чемоданов и тюков.

Впрочем, так легко я не отделался. На следующий день чиновник прислал в Болахун солдата, требуя еще шесть с половиной фунтов, а когда я отослал солдата с пустыми руками, он явился сам — на голове грязный белый шлем, в зубах изжеванная папироса. Длинную трудную дорогу из Фойя он проделал в гамаке на плечах четырех носильщиков в сопровождении нескольких солдат. Он важно вступил на веранду — этакий сердитый, бессовестный и жадный человек с дружелюбной

улыбкой на губах, но с дурно скрываемым бешенством и полный решимости. Он получил свои деньги, выпил два стакана виски, выкурил две сигареты; тут ничего нельзя было поделаться: напрасно было предлагать взятку чиновнику, который и так, вероятно, оставлял себе львиную долю взимаемых поборов.

Первый день путешествия по Либерии был для меня сплошным удовольствием, потому что все вокруг было ново и непривычно: наши гонки с темнотой, особый привкус теплой кипяченой воды, даже запах носильщиков — это не был неприятный запах, приторный или тошнотворно-кислый, он был горек и чем-то напоминал кашу, которую мне давали в детстве после плеврита и которую я невзлюбил, хоть в ней было что-то бодрящее, укрепляющее силы. Этот горький дух смешивался с острым ароматом орехов кола — носильщики поднимали их с земли и жевали на ходу, с едва уловимым запахом какого-нибудь цветка, незаметного в лесной чаще. Но по мере того как усиливался зной, все запахи улетучивались, словно испаряющаяся с земли влага. Носильщики шли голыми, если не считать набедренной повязки, ручейки пота оставляли на черной блестящей коже извилистые следы. Они не выглядели силачами, у них не было уродливо развитой мускулатуры боксеров; тонконогие, как женщины, они обладали характерной стопой носильщика — плоская, как огромная пустая перчатка, она ложилась на землю лепешкой; казалось, будто перенесенные грузы сплюснули ее словно «*peine forte et dure*»*. Даже руки у них были по-детски тонкими, и когда они приподнимали на несколько дюймов пятидесятифунтовые ящики, чтобы дать отдохнуть голове, мускулы едва напрягались и были не толще веревки.

Мы находились на опушке огромного леса, покрывающего всю Либерию, кроме полосы шириною в несколько миль вдоль побережья. От пограничного поста в Фойя тропа пошла круто вверх, и, достигнув первой деревни, мы увидели под самыми хижинами густые заросли — косматый зеленый поток, убегающий к морю; поток взбегал на горы, опускался в ущелья и широко разливался по долинам, а долины тянулись на сотни

* «Боль жестокая и злая» (франц.) — название пытки, некогда применявшейся в Англии к лицам, заподозренным в измене.

милль, и кроны высоких пальм торчали, словно метелки трубочистов. Хижины, как и на всей территории племени банде, были круглые с остроконечными соломенными крышами; крыши выступали над пестрыми глиняными стенами, верхняя половина которых была выбелена. В каждой хижине есть дверь, а иногда дверь и окно; посредине кучка золы: после захода солнца тут зажигается от общественного очага костер, заполняющий дымом единственную комнату; дым гонит москитов и в какой-то степени блох, тараканов и жуков, но не может отпугнуть крыс. Все эти деревни очень похожи одна на другую, их строили на холме террасами, как средневековые города; обычно тропинка, по которой мы шли сквозь чащу, круто спускалась к ручью, куда жители деревни приходили купаться и стирать одежду, потом она так же круто поднималась, переходя в широкую утоптанную дорогу и выбираясь из лесного сумрака к ослепительному сиянию дня и островерхим хижинам, чьи силуэты четко рисовались на фоне неба. В центре поселка стоял дом совета старейшин, на окраине находилась кузница — это были навесы без стен.

Да, почти во всех деревнях, где мне случалось останавливаться, было одно и то же: пригорок, ручей, дом старейшин и кузница, тлеющие угли общественного очага, которые носили от порога к порогу, когда наступала темнота; коровы и козы, стоявшие между хижинами, несколько банановых деревьев, походивших на высокие пучки покрытых пылью зеленых перьев. И все же ни одна деревня не казалась точным повторением другой. Как бы я ни был утомлен семичасовым переходом по диким, неприветливым зарослям, я не переставал любоваться поселениями, где мы устраивались на ночлег: меня покорило мужество маленькой общины, едва поддерживавшей свое существование в этой лесной пустыне, — днем ее изнурило свирепое солнце, под лучами которого не спорилась никакая работа, а по ночам обступала тьма, полная злых духов. Любовь была здесь рукой, обвившейся вокруг шеи, судорожным объятием в дыму хижины; богатство — кучкой кокосовых орехов; старость — язвами и проказой; религия — несколькими камнями в центре селения, под которыми покоился прах умерших вождей, рощей, где вили гнезда рисовые трупялы, похожие на желтых и зеленых канареек, челове-

ком в маске и соломенной юбке, плясавшим вокруг погребального костра. Это оставалось неизменным везде и всюду, менялись только степень приветливости к чужеземцам, глубина нищеты и острота обступающих страхов. Их смех и способность радоваться казались мне проявлением самого высокого мужества. Говорят, что любовь изобрели в Европе трубадуры, но вот здесь она жила, свободная от всех прикрас цивилизации. Они были ласковы с детьми (мне редко доводилось слышать, чтобы ребенок плакал, разве что при виде белого лица, и я ни разу не заметил, чтобы детей били), они были ласковы друг с другом, но в то же время не навязчивы, они не кричали, не скандалили и, не в пример европейской бедноте, никогда не давали выхода раздражению в грубой ругани и беспричинных драках. Здешние нормы вежливости давали о себе знать постоянно, и к ним приходилось применяться.

И это были те самые люди, о которых мошенники и торгаши с Берега говорили, будто им нельзя верить! «Черномазый всегда подведет!» — повторяли они. Напрасно я позже твердил им, что ни разу не заметил ни одного нечестного поступка ни со стороны своих слуг, ни со стороны носильщиков или деревенских жителей; я встречал с их стороны только предупредительность, доброту и бескорыстие, которых никогда бы не нашел или по крайней мере не надеялся найти в Европе. Меня поражало, что я могу спокойно путешествовать в стране, где нет никакой полиции, с двадцатью пятью людьми, которые отлично знают, что в моем денежном ящике лежит много серебра, в их глазах это было настоящим богатством. Мы уже покинули и британскую, и французскую территории, а темнокожее правительство на Берегу отнеслось бы к нашему исчезновению равнодушно, да и было бы бессильно что-либо предпринять. К тому же нас считали безоружными: револьвер хранился в денежном ящике, я ни разу его не зарядил и никому не показывал; ничего не стоило инсценировать несчастный случай на каких-нибудь плетеных мостках; но и не прибегая к крутым мерам, было бы совсем уж просто потерять денежный ящик или бросить в чаще на произвол судьбы нас самих.

Легко себе представить, что думали по этому поводу белые на Берегу. «Несчастный идиот, — думали они, — он

даже не понимает, как его надули!» Но меня никто не «надул»; за все время у меня не случилось даже самой безобидной кражи, хотя в каждой деревне жители часами толпились в отведенной для нас хижине, где кругом валялись все мои вещи: мыло (величайшая ценность в этих местах), бритвы, щетки. «Негр может прослужить у вас десять лет, а в конце концов он вас все-таки надует». И, оставив пустые стаканы, собеседники отправлялись по раскаленной улице в свои лавки, подумывая о том, кого бы сегодня надуть по всем правилам коммерции. «И ни малейшей привязанности, прослужи он у вас хоть пятнадцать лет», — добавляли они в заключение. «Ни тени привязанности». Они всегда ожидали получить от этих людей больше, чем давали сами. Они платили им за услуги, а привязанность хотели получить в качестве бесплатного приложения.

Я надеялся добраться до миссии часам к пяти, но в пять часов мы оказались еще на одном пригорке, возле еще одной группы хижин и надгробных камней, а внизу по-прежнему расстилалась лесная чаща. Кругом был разложен хлопок для просушки, и какое-то деревцо заодно протягивало к небу бледно-розовые цветы. Кто-то указал нам белое здание миссии — оно выделялось на фоне темного леса, освещенное вечерним солнцем. До него было по меньшей мере часа два ходу; наш марш, еще больше, чем прежде, превратился в состязание с надвигающейся тьмой, и тьма едва не выиграла. Она опустилась на нас, как только мы вышли из леса и двинулись по банановой плантации у подножия Мозамболахуна; а когда наше шествие во главе со старым поваром в длинной белой магометанской одежде (в руках он держал связанную курицу) достигло первых хижин, уже совсем стемнело и похолодало. Во всех хижинах горели костры, и едкий дым стлался над узкими тропками, но язычки пламени манили, как родной очаг, — здесь, в Африке, они заменяли огни английских деревень, светящиеся за красными шторами. На склоне Мозамболахуна, этого небольшого холма, теснилось около двухсот хижин; они утопали в языческой грязи, сторонясь опрятных садилов христианского селения Болахун, раскинувшегося внизу, в расчищенной от леса долине.

Туда вниз, в Болахун, вела широкая утоптанная тропа, по которой теперь поднимался, раскачиваясь из

стороны в сторону, гамак; за ним следовала шумная кучка людей. Гамак остановился возле меня, и древний-древний старик с длинной седой бородой в одежде из домотканого полотна протянул мне оттуда руку. Это был вождь Мозамболахуна; девяностолетний старик весь дрожал и трясся и не переставал улыбаться, в то время как вокруг бесцеремонно болтали его спутники. Старик не говорил по-английски, но какой-то юноша с ружьем, очутившийся рядом со мной, сообщил, что вождь возвращается домой из Тайлахуна, где он был на похоронах другого вождя. Нетерпеливые носильщики тут же потащили гамак дальше, а он махал иссохшей старческой рукой, все улыбаясь своей ласковой, пытливой и лукавой улыбкой. Позже я узнал, что повстречал разгадку запущенности Мозамболахуна: старик не пользовался никаким авторитетом и превратился в марионетку в руках у более молодых. У него было около двухсот жен, но ему продавали одну и ту же жену по несколько раз — он был слишком стар, чтобы вести им счет. Он знал, что слишком стар, и хотел отречься в пользу человека помоложе, но отбившаяся от рук деревня не желала терять свою марионетку. Он стоял на своем, тогда ему сказали, что его выбрали епископом, старику это понравилось, и он успокоился.

До миссии было еще две мили; путь вел через деревню Болахун; кругом оглушительно квакали лягушки. Миссия принадлежала ордену Святого креста — монашескому ордену американской епископальной церкви. Я велел сложить грузы перед длинным одноэтажным домом с верандой и стал ждать, пока кончится служба. Из часовни доносилось негромкое бормотание по-латыни; в темноте веранды сверкали белки глаз моих носильщиков, молча сидевших на корточках; все так устали, что даже не могли говорить.

В тот же вечер, расплатившись с носильщиками, я отправился на поиски Ван-Гога — компаньона заболевшего К. Палатка золотоискателя находилась поблизости, в ней горел фонарь. «А, Ван-Гог, — сказал мне незадолго до этого священник, — Ван-Гог вам понравится». Откинув полу палатки, я увидел Ван-Гога: он лежал на койке, завернувшись в одеяло; я решил, что он спит, но, когда Ван-Гог повернул голову, я заметил, что он весь в поту — светло-золотая щетина на его подбородке взмокла от

пота. Лихорадка свалила его за пять часов до нашей встречи, и всю эту ночь возле него сидел немецкий врач, служивший при миссии. Ван-Гогу было худо, очень худо; он провел всю жизнь в тропиках, но девять месяцев в Либерии свалили его с ног.

На следующий день его положили в наш гамак и отправили в маленький лазарет при миссии, рабочие с его золотого прииска в лесу Гола сложили палатку, забрали вещи и понесли больного прочь под знойными лучами солнца.

ПОХОРОНЫ ВОЖДА

Через несколько дней после нашего прибытия заболел Амеду. Всю ночь я слышал, как он надывается от кашля, а утром его осмотрел немецкий врач и обнаружил, что у него воспаление легких. Он лежал на кушетке в кабинете врача, онемев от ужаса, но безропотно согласился отправиться в лазарет; несмотря на страх, он оставался образцовым слугой. Его болезнь свела меня с Марком. Марк был учеником христианской школы; его прислали в помощь Ламина и повару; он был ленив и неряшлив, но очень забавен. Он во всем видел нечто драматическое, смеялся пронзительным блеющим смехом и впитывал сплетни словно губка. Как и белые ребята его возраста, он любил представлять себя героем вымышленных приключений.

На четвертое утро, едва рассвело, из соседней деревни донесся шум: затрубили рога, звук их постепенно удалялся к северу. Марк узнал первый о том, что случилось, и сообщил нам об этом со злорадным ликованием, так как ненавидел окружного комиссара Ривса. Ривс происходил из племени вай и был мусульманином, душой он оставался человеком прошлого века, мрачных времен работорговли. Он ненавидел христиан, он ненавидел белых и считал английский язык источником всех зол. В его серой тюленьей коже, темных бесстрастных глазах, мясистых красных губах, в его феске и одежде из домотканого полотна было больше от Востока, чем от Африки: что-то жестокое и похотливое; он был груб, бессердечен и продажен. Жена его — некая мисс Барклей — была родственницей президента; поговаривали, что, назначая Ривса окружным комиссаром, президент обещал сохра-

нить за ним этот пост пожизненно. Сперва Ривс служил в Саноквеле, на другом конце страны, и оттуда вслед за ним в Колахун потянулась неприятная молва о каких-то торговцах из племени мандинго, которых он будто бы уличил в контрабанде на французской границе, изловил, запер в хижине и сжег заживо. Проверить подобную историю в Либерии невозможно, но ходили и другие рассказы о его жестокости и деспотизме, которым я нашел достаточное подтверждение: говорили, что он заставил местных жителей построить ему дом и покрыл все расходы, их же ограбив, что его чиновники пороли рабочих на строительстве дорог, что ни одна душа из христианского Болахуна не смогла показаться в окружном центре.

Однажды монахини видели, как он спешил куда-то в своем гамаке, а его люди погоняли носильщиков кнутами. Слухи обо всем этом достигли Монровии, и даже правительство, находившееся на расстоянии десяти дней трудного пути, не могло остаться равнодушным: президент отправился в Колахун, чтобы выслушать жалобы вождей. Ривс вместе с вождями вышел навстречу президенту, но тот добрался до Колахуна другими тропинками и нашел опустевший поселок. Звуки рогов и крики означали, что Ривс и его спутники со всех ног бегут обратно в Колахун.

Я послал Марка к президенту с письмом, в котором просил его меня принять. Когда мы сидели за ужином, мальчик ворвался в комнату со свойственным ему драматизмом: он застыл на пороге, воздев руку, в которой держал расщепленную палку с ответом — ответ гласил, что президент уже двинулся из Колахуна в Воиньема. Сразу было видно, что Марк дал волю фантазии и теперь убежден, будто едва-едва спасся из когтей свирепого окружного комиссара.

Марк принадлежал к племени банде и говорил по-английски, он служил мне гидом и переводчиком в окрестностях Болахуна. В двух милях от миссии, в Тайлахуне, умер вождь, и Марк повел нас в эту деревню посмотреть погребальные обряды, которые еще не закончились. Тайлахун — крохотная деревушка, прилепившаяся к неровному склону холма. Свежая могила находилась в центре селения и была окружена плоскими камнями, которые обозначали старые могилы; на холмике была разложена

циновка, а на циновке сидела средних лет женщина — самая молодая из матерей среди жен умершего вождя. Навес из пальмовых ветвей защищал ее от солнца, к улугам духа умершего был поставлен горшок для варки пищи и брошена охалпа хвороста. Христианство и язычество протянули друг другу руки над этой могилой: на холмике водрузили грубый крест, чтобы умиловить бога, которого старый вождь признал на смертном одре, а в яме по соседству, согласно языческому обычаю, сидели восемь жен, совсем нагих, если не считать повязки на бедрах. Другие женщины обмазывали их глиной; глину втирали им даже в волосы. Большинство вдов были стары и безобразны; в полумраке ямы они казались выкопанными из земли полуразложившимися трупами. Вместе с цветом кожи они потеряли признаки своей расы и могли бы сойти за женщин любой национальности, которых сперва похоронили, а затем выкопали. Крест, глина, младшая из матерей — в простоте этих символов был неподдельный пафос.

Обе религии явно пользовались здесь самыми примитивными средствами, не прибегая ни к показной пышности, ни к силе. «Такие сцены, — думал я, — разыгрывались, наверно, в последние дни язычества в Англии, когда птица, пролетевшая через освещенный зал и исчезнувшая во мраке, сыграла свою роль в обращении одного из королей».

Шел третий день после похорон. Назавтра женщинам полагалось смыть глину, умастить тела маслом и снова обрести свободу; предстояли трехдневные пляски, которые должны были повториться еще раз через сорок дней. Готовясь к пляскам, девушки завивали волосы, вместо того чтобы склеить их, как обычно, в прическу со множеством проборов.

На похороны прибыл из Мозамболахуна местный «дьявол» — Ландоу; собственно говоря, мы для того и явились сюда, чтобы поглядеть на его пляски. Как-то раз в Болахуне после захода солнца мне довелось увидеть, как он шагал куда-то в своих длинных юбках из пальмовых листьев и деревянной носатой маске. В каждой деревне, попадавшейся на его пути, он собирал железки: по прибытии в Тайлахун он должен был заплатить новому вождю дань несколькими связками железок.

Новый вождь дремал в своем гамаке в домике совета

старейшин. Я преподнес ему два шиллинга; стоял полу-денный зной, ему уже надоели церемонии, и его смутило наше посещение. Нам принесли два стула; в маленькую хижину набилось человек тридцать; по полу прыгали насекомые. Появился два человека с продолговатыми барабанами, к каждому барабану был подвешен металлический диск. На музыкантах красовались алые шапки с золотыми звездами и длинной кисточкой, очень похожие на те, которые носят пограничники в Фойя. Переступая босыми ногами на усеянном блохами полу, они били изогнутыми молоточками в свои барабаны и диски. Звук барабана постепенно привлек в тесную душную хижину новых музыкантов. Пришли три женщины с трещотками разных размеров (полыми тыквами, в которых гремели рисовые зерна) и арфист с пятиструнной арфой, сделанной из половинки тыквы; на арфу были натянуты пальмовые волокна; он прижимал свой инструмент к груди, слабый мелодичный звук натянутых струн был различим лишь тогда, когда смолкали барабаны и трещотки. Последним явился человек с обыкновенным большим барабаном, и эта музыка, трудная для понимания европейца, будоражила чувственность. Звуки все нарастали, барабанщики топали ногами и обливались потом, женщины раскачивались, трясли трещотками, это тянулось бесконечно. И когда, наконец, появился «дьявол», мы были уже так утомлены, что приход его не произвел на нас должного впечатления.

ЛИБЕРИЙСКИЙ «ДЬЯВОЛ»

Я называю его «дьяволом» потому, что так зовут его в Либерии белые, да и говорящие по-английски местные жители. Это слово кажется мне ничуть не менее точным, чем слово «жрец», которое употребляется в других местах. «Дьявола» в маске вроде Ландоу можно, грубо говоря, сравнить с директором училища (о тех, кого называют «великими дьяволами леса», я расскажу дальше). Даже в протекторате Сьерра-Леоне, где имеется много миссионерских школ, большинство жителей, за исключением магометан, проходят обучение в лесной школе, тайным главой которой является «дьявол» в маске. Такую школу посещают даже те, кто принял христианство; побывал в одной из них и Марк; впрочем, христиане

обычно пользуются преимуществом — для них установлен сокращенный курс обучения, поскольку им нельзя доверять всех тайн лесной школы. А лесные школы окружены величайшей тайной. На всем пути через леса внутренней Либерии вы встречаете следы таких школ; иногда это шеренга подстриженных на особый лад деревьев, за которой узкая тропинка исчезает в густой чаще, иногда частокол пальм с переплетенными листьями — знаки, что дальше доступ посторонним закрыт. Юноши и девушки не считаются совершеннолетними до окончания лесной школы. В прежние времена полный курс обучения занимал в некоторых племенах до семи лет, теперь он обычно ограничивается двумя годами. Учащиеся не знают каникул; ученики не выходят из чащобы; если ребенок умирает, его вещи ночью складываются у порога родительской хижины в знак того, что он умер и похоронен в лесу. Считается, что, окончив школу, дети рождаются заново: по возвращении в деревню им не позволено узнавать родителей и друзей, пока те не познакомятся с ними заново. Из леса школьники возвращаются мечеными — с татуировкой. В каждом племени своя татуировка; в некоторых племенах тело женщины от шеи до пупка подвергается тщательной и изящной гравировке. «Гравировка» — более точное выражение, чем татуировка: ведь для европейца татуировка — это наколотое на кожу цветное изображение, тогда как местная татуировка представляет собой выпуклые узоры, вырезанные ножом.

Сначала школа и «дьявол», который ею руководит, внушают ребенку ужас. Лесная школа остается таким же мрачным рубежом между детством и зрелостью, как закрытое учебное заведение в Англии. Ребенок видит «дьявола» в маске и слышит рассказы о его сверхъестественном могуществе. Как пишет доктор Вестерман, «дьявол» не открывает ни одной части своего тела, потому что взор непосвященного может его осквернить, а, по-видимому, еще и потому, что ничем не прикрытая мощь может быть губительна для окружающих; по той же причине никто за пределами лесной школы не смеет узреть «дьявола» без маски — это грозит слепотой или даже смертью. И хотя ученики, которым случается видеть «дьявола» в его свободные часы, отлично знают, что он, к примеру, деревенский кузнец, его продолжает окружать в их глазах ореол сверхъестественности. Не маска сама по себе свя-

щенна и не особа кузнеца — они священны лишь в соединении друг с другом; но некий ореол сверхъестественного продолжает окружать их и тогда, когда они существуют порознь. Поэтому кузнец может пользоваться в своей деревне большей властью, чем вождь, а маска способна вызывать поклонение и тогда, когда ее сняли, и хозяин порой даже кормит ее, как кормят идола.

Когда мы познакомились с Марком поближе, он рассказал мне кое-что о себе. Поскольку он был христианином, он провел в лесу всего две недели: по его словам, он только и делал там, что бездельничал да ел рис. В один прекрасный день, когда он был в миссионерской школе, за ним пришел «дьявол» — все тот же Ландоу. Марк не был предупрежден о его приходе. Учитель говорил, что не надо бояться, но «дьявол» пригрозил через переводчика (сам «дьявол» говорит на непонятном языке): «Я тебя проглочу». Марку не разрешили даже заглянуть домой; его связали по рукам и ногам, завязали глаза и унесли в лес. От ужаса он оцепенел. Потом его бросили на землю и стали орудовать бритвой, но он утверждает, что ему не было больно. Два небольших надреза сделали на шее, два — под мышкой и два — на животе. Я спросил, били ли его в лесу (в своих очерках о либерийском племени пелле доктор Вестерман писал, что там воспитывают в спартанском духе). Марк сказал, что его били только раз: однажды «дьявол» запретил ребятам, что бы ни случилось, выходить весь день из хижин; конечно, они не послушались, и их отлупили. Через две недели Марка обрядили в белую одежду и под покровом темноты привели обратно в деревню. В конце концов он нехотя признался, что «дьявол», не носивший в школе никакой маски, это кузнец из Мозамболахуна; в школе, пожалуй, поступили умно, не посвятив Марка в тайны, а просто разрешив две недели побездельничать и полакомиться рисом. Во всяком случае люди племени банде беспечны и не очень-то религиозны. На земле племени бузи все обстоит совсем иначе.

КУЗНЕЦ В МАСКЕ

Значит, перед нами был теперь не кто иной, как мозамболахунский кузнец; он вразвалку шагал между хижинами, в головном уборе из перьев, тяжелом плаще из

одеяла, с длинной гривой из пальмовых листьев и в такой же юбке. Под бой большого барабана, топот ног и оглушительную дробь трещоток «дьявол» опустил на землю, взметая пыль своими длинными выцветшими желтыми волосами. Вместо глаз были намалеваны два круга, густая шерсть окаймляла плоскую черную деревянную морду длиной в целый ярд; когда он раскрывал пасть, виднелись большие красные деревянные клыки. Черный деревянный нос торчал под прямым углом к глазам, почти не выступавшим над мордой. Пасть открывалась и закрывалась со стуком, и «дьявол» говорил нараспев, глухим, монотонным голосом. Он напоминал составное слово — в его образе соединились зверь, птица и человек. Все женщины, кроме участвовавших в оркестре, отошли к своим хижинам и глядели на «дьявола» издали. Переводчик уселся рядом с ним на корточках; в руках он держал щетку, при помощи которой при каждом движении «дьявола» тщательно расправлял его наряд, чтобы нигде не проглянули ни нога, ни рука.

«Дьяволам» требуются переводчики, так как они говорят на языке, непонятном окружающим. Ландоу беспрерывно бормотал нечто совершенно невнятное. Насколько мне известно, этнографы еще не решили, действительно ли «дьяволы» говорят на каком-то особом языке, или же переводчик просто болтает, что ему заблагорассудится. Версия Марка отличалась одним неоспоримым достоинством — простотой: он утверждал, что в племени банде «дьявол» говорит на языке песси, в племени песси — на языке бузи; что же касается «дьявола» племени бузи, уверял Марк с подкупающей непоследовательностью, то он говорит на языке бузи, но так тихо, что ничего не разберешь.

Как объявил теперь переводчик на языке банде, «дьявол» свидетельствовал свое почтение вождю и чужеземцам и выражал готовность для них сплясать. Наступила неловкая пауза, пока я размышлял со смущением человека, попавшего в незнакомый ресторан, хватит ли у меня денег расплатиться. Но подношения в один шиллинг оказалось достаточным, и «дьявол» пустился в пляс. Это была менее артистическая пляска, чем та, которую мы увидели позднее в исполнении «дьявола» из женского тайного общества племени бузи; недостаток религиозного рвения у племени банде позволял здесь людям

жить беспечно, не испытывая вечного страха перед отравителями, но зато глушил их артистический талант. Неутомимость была, пожалуй, единственным достоинством Ландоу; он размахивал маленьким кнутиком, кружился волчком, носился большими скользящими прыжками взад и вперед от хижин к хижине, а юбка его вздымала облака пыли, придавая каждому движению видимость головокружительной быстроты. Переводчик выбивался из сил, стараясь от него не отстать и пуская в ход свою щетку всякий раз, когда удавалось дотянуться до плясуна. Кругом царил праздничное настроение; никто из взрослых не боялся Ландоу; все они прошли через его школу; можно полагать, что кузнец безалаберного, неряшливого поселения Мозамболахун не слишком старательно оберегал свой авторитет, когда бывал без маски. Видно было, что он славный малый... и, как многие славные малые, он не знал, что такое чувство меры; посидев, бормоча, на земле, он принимался опять бегать взад и вперед, а потом садился снова. Он всем ужасно надоед, продолжая свою однообразную игру под жгучими лучами солнца в надежде на новое подношение, но у меня больше не было денег. Какая-то женщина подбежала, бросила ему под ноги две железки и убежала, а он шелкнул кнутом и опять принялся бегать, скакать и кружиться. Жители деревни стояли в сторонке, сдержанно улыбаясь.

Я вспомнил Зеленого Джека * — я видел его, когда мне было четыре года, одетого с головы до пят во что-то вроде скафандра из листьев, откуда выглядывало только лицо; он без конца кружился по пустынному перекрестку проселочных дорог, а на эту пляску любовалась лишь кучка его спутников да несколько проезжих велосипедистов. Вплоть до девятого столетия такие пляски носили в Англии обрядовый характер: они были частью праздника, отмечавшего смерть зимы и возвращение весны. И вот здесь, в Либерии, мы снова и снова встречали намеки на наше собственное прошлое. Этот танец в маске был нам не так уж чужд, не более чужд, нежели крест и языческие эмблемы на могилах (было время, когда и в Англии плясали ряженые в звериных шкурах). У нас то и дело возникало такое чувство, словно мы вер-

* Традиционный шутник на весенних празднествах в Англии, надевающий на себя обвитый листьями ивовый каркас.

нулись домой,— на каждом шагу мы замечали здесь какие-то связи со своим собственным детством и детством нашей расы. Здесь тоже страшали малышей колдунами и ведьмами: откуда-то принесли вопившего ребенка и сунули его под самую морду «дьявола», под его пыльную гриву из пальмовых листьев; ребенок оцепенел, потом завопил и попытался вырваться, а «дьявол» делал вид, будто хочет его сожрать. Старшие разыгрывали те же самые шутки, какие разыгрывались уже целые столетия, пугали детей теми же страхами, какими когда-то пугали их самих.

Мы пошли прочь, но, оглянувшись, я увидел девочку, плясавшую перед Ландоу,— это был все тот же извечный эротический невеселый танец бедер и живота. Танцуя, как когда-то Европа перед быком, девочка по крайней мере не знала, что «дьявол» — это кузнец из Мозамболахуна. А старая черная деревянная маска уперлась в землю, и глаза кузнеца следили за плясуньей сквозь обведенные кружками отверстия.

МУЗЫКА В НОЧИ

В этот вечер Гисси из племени бузи пришел к нам поиграть на арфе. Веранду окружила цепь черных голов, а он сидел, болтая ногами и извлекая из пальмовых волокон тихие, грустные, однообразные звуки: музыку красивую и поверхностную, которая только дразнит слух, не вызывая ни душевного подъема, ни горя — этих утомительных чувств, от которых лицо слушателя в концертном зале превращается в напряженную маску. Казалось, будто играет шарманка — грустно, но в общем равнодушно: ведь все равно ничто на свете не меняется. Арфист брал четыремя ногтями одни и те же негромкие ноты, они замирали и снова звенели в ночи; кругом были черные лица, мошки тучами летели на свет фонаря, опалая крылья. Марк сбрасывал их со стола целыми пригоршнями. Гисси не смотрел ни на арфу, ни на свои пальцы, ни на слушателей; с легкой улыбкой он глядел в сторону, на стол, где копошились уже бескрылые мошки. Никто бы не назвал его красивым мужчиной — красота его была какой-то женственной, хотя и без малейших следов изнеженности. Его круглый череп и маленькие уши, выступающая нижняя губа и длинные загнутые

ресницы не имели ничего общего с тем типом молодцеватого негра, который представляет Африку в глазах Европы, развалясь за стойкой бара на Лестер-сквере * или колотя по клавишам рояля в оркестре какого-нибудь дансинга. У него был нежный округлый подбородок, волосы облегали голову, как тюбетейка; он походил не столько на африканца, сколько на грека — на грека древних времен, еще до упадка Эллады. На руке он носил браслет из слоновой кожи, на пальце серебряное кольцо.

Откуда ни возьмись, появился козий пастух; он пустился в пляс, притоптывая и выбрасывая в стороны руки. Один за другим из темноты на освещенную фонарем веранду стали подниматься танцоры; они кидались из стороны в сторону, а по стене металась тень, отбрасываемая руками и ногами. Лица были мне еще не знакомы, но вскоре нам предстояло с ними свыкнуться: это были рабские, которых подобрал Ванде, вновь назначенный старшина; целый месяц каждый из них будет таскать пятидесятифунтовую ношу, получая три шиллинга в неделю и еду. Человеку непосвященному это может показаться чем-то вроде рабского труда, но людей, притоптывавших на веранде со сдержанной страстью и безотчетной грацией, никто не называл бы рабами. Тут были Ама, помощник старшины, высокий негр из племени мандинго, неулыбчивый и угрюмый, с бритой головой, в длинном бело-синем балахоне; тут был Бабу, принадлежавший, как и Гисси, к племени бузи — те же тонкие черты лица, говорившие о высокой культуре, черты племени, чувствительного к искусству и легко поддающегося страху; из этого племени вышли удивительные ткачи и люди, больше других посвященные в тайны сверхъестественного, — покорители молний и отравители; был тут еще Фадаи — тихий юноша из Сьерра-Леоне с добрыми печальными глазами, страдавший фрамбезией **, и одноглазый Ванде второй, бритоголовый и туповатый.

Все они притоптывали и раскачивались в полном молчании; каждый импровизировал, танцуя сам по себе и не обращая внимания на других; их объединяли только музыка да тени на стене. За время долгого пути мне снова и снова случалось видеть такие вдруг возникавшие пля-

* Район увеселительных заведений в Лондоне.

** Хроническая инфекционная кожная болезнь.

ски. Малейший намек на мелодию, и они уже не могли устоять на месте, а если музыки не было, кто-нибудь колотил палкой по пустой жестянке, отбивая такт. Эти танцы легче почувствовать и понять, чем ритуальные пляски: в них есть мимическая выразительность; в излюбленных ужимках каждого из танцоров проглядывали движения чарльстона. Но для самих плясунов ритуальные танцы, наверное, казались более высоким, изощренным искусством; просто у нас не было ключа к их пониманию. Я видел такой танец как-то раз в деревне. Кучка молодежи била в барабаны и что-то напевала, а семеро юношей образовали тесный хоровод; подбоченься, они перебирали ногами, сперва выбрасывая вперед одну ногу и приставляя к ней другую, а затем выбрасывая вперед другую ногу. Вскоре к ним присоединились три девушки, и круг стал еще теснее: девушки касались грудью спины идущего впереди, а им самим упирались в спину те, кто был сзади. Так они кружили под монотонный бой барабана, точно змея, пожирающая собственный хвост.

Эта ночь с танцами на веранде прочно врезалась в память потому, что она была нашей последней ночью в Болахуне. На следующий день начиналось настоящее путешествие. Амеду вернулся из лазарета. Забрел на чашку чаю и Ван-Гог, бледный как привидение под своей выгоревшей золотой щетиной, с лицом чересчур интеллигентным и тонким для золотоискателя; он обращался с неграми с таким суровым пренебрежением, какого никак нельзя было предположить, судя по глазам за роговыми очками. Изучение самодельных карт Западной провинции, составленных голландскими золотоискателями, и совещания с немцем-лингвистом убедили нас в необходимости выбрать другой, более длинный путь. Я решил пойти на Сино и Нана-Кру, продвигаясь сперва вдоль северной границы Либерии до Ганты, где жил американский врач и миссионер доктор Харли, который мог посоветовать мне, как идти дальше. Никто из жителей Болахуна никогда не добирался до Ганты, но немец-врач из миссии бывал в Зигите, а там, наверное, можно было получить сведения о пути в Ганту. Монахи со святой доверчивостью к человеческой натуре дали мне сорок фунтов стерлингов мелкой серебряной монетой под чек на какую-то торговую фирму в Монровии; они же продали мне два легких гамака, каждый из них могли нести всего

два носильщика. Благодаря этому я рассчитывал сэкономить на носильщиках и выиграть во времени.

Сначала мы предполагали сделать первую стоянку в Пандемаи, и я даже послал вперед двух носильщиков, чтобы предупредить о нашем приходе вождя, но в ходе разговора за вечерним чаем расстояние до Пандемаи все возрастало и возрастало, тогда как гостеприимство, которым славился вождь в Кпангбламаи, становилось все более заманчивым. По совести говоря, все дело было в том, что я немножко робел. Мне хотелось погрузиться в неведомое не сразу, а постепенно.

Я решил добавить к нашей компании Марка — в качестве переводчика, шутника и сплетника. Невозможно было устоять против письма, которое он подбросил мне на веранду:

«Сэр имею честь просить вас, что я охотно пойду с вами до Монровии, пожалуйста, очень вас прошу. Потому что вы меня так полюбили, я не хочу вы меня снова здесь оставите, а, Кроме того, я еще маленький, чтобы нести груз. Я буду помогать тащить гамак, пока дойдем. Я и старшина. Пожалуйста, сэр, не оставляйте меня снова. Вчера вечером я боялся вам сказать, пожалуста, Хозяин, хороший хозяин и хороший слуга. Я ваш навеки друг Марк».

Будущее показало, что, как бы я ни был утомлен, раздражен или болен, я всегда мог вернуть хоть немного былой жизнерадостности из вторых рук — через Марка; ведь Марк никогда не видел ни моря, ни парохода, ни даже кирпичного дома. Для него это путешествие было самым увлекательным приключением, какое только способна даровать жизнь, а ведь он еще был совсем мальчишкой. По тому, как он жадно глядел на новых людей и новые порядки, легко было угадать, как напряженно работает его воображение; да, у него будет что порассказать, когда он вернется в школу!

Но теперь на веранде под эти пляски меня одолевали мрачные предчувствия. В последний раз мы ночуем под крышей настоящего дома. Дальше нас ждут деревенские хижины. Я вспомнил, что рассказывали монахини о крысах, которыми кишмя кишат эти хижины. Невозможно, говорили они, уберечься от крыс, когда ложишься в постель; москитные сетки не помогают; как-то раз, проснув-

шись ночью, одна из сестер обнаружила крысу у себя на подушке; крыса обнюхивала помаду, которой были намазаны ее волосы. Впрочем, уверяли сестры, к крысам быстро привыкаешь. Они оказались правы, но тогда я им не поверил. Ведь я дома никак не мог привыкнуть к мыши, скребущейся за стеной панелью, и побаивался моли. Тут сказывалась наследственность: как и моя мать, я боялся птиц, не мог до них дотронуться, не мог вынести биения птичьего сердца у себя на ладони. Я избегал птиц, как избегал мыслей, которые мне были не по нраву — например, мыслей о вечной жизни и вечном искуплении.

Через веранду между ногами танцоров, скуля прощмыгнула собака и помчалась по тропинке, которая вела к монастырю. Ее подгонял какой-то инстинкт; морда у нее была в пене, она визжала, но продолжала бежать; ее укусила змея. Монахини позвали местного знахаря, он влил собаке в глотку лекарство и привязал к лапам какие-то липкие снадобья, которые сестры сорвали, как только он ушел. Собака еще жила; инстинкт гнал ее вперед, не давал ей покоя.

Как только танцоры ушли, настроение у нас испортилось. На душе скребли кошки: из головы не выходили К. и Ван-Гог. Брат был весь искусан с головы до ног; если это были москиты, малярия могла одолеть нас на полпути через лес. У меня высыпала на спине и на руках сыпь, как при ветряной оспе. Да и вообще я чувствовал себя неважно — может быть, выпил лишнего. Казалось, самый воздух здесь заражен миазмами, недаром заболел Амеда и трясся в лихорадке Ван-Гог. После ужина я пошел в последнюю мало-мальски благоустроенную уборную, которой мне предстояло воспользоваться до самого прихода в Монровию; и, хотя деревянное сиденье, разумеется, кишело муравьями, я уже понимал, что всякая уборная сама по себе является благом.

Мы обнаружили, что у нас не хватает фонарей. Пока слуги мыли посуду, им нужны были оба фонаря, и нам пришлось сидеть при тусклом свете карманных фонариков. Сквозь дыры в москитных сетках на окнах и дверях набилась всякая нечисть — огромные слепни, тараканы, жуки, мошкара. Чтобы не жечь попусту батареи, мы то и дело гасили фонарики. Да, это был мрачный вечер, и нервы у нас были натянуты. Вверх и вниз по стенам про-

бегали громадные пауки, в углу размеренно капала вода в фильтре, откуда-то доносились звуки тамтама, передававшего какую-то вест (наверно, о прибытии президента), о стену билась гигантская черная бабочка величиной с летучую мышь. Оставалось только пораньше лечь спать и постараться покрепче заснуть.

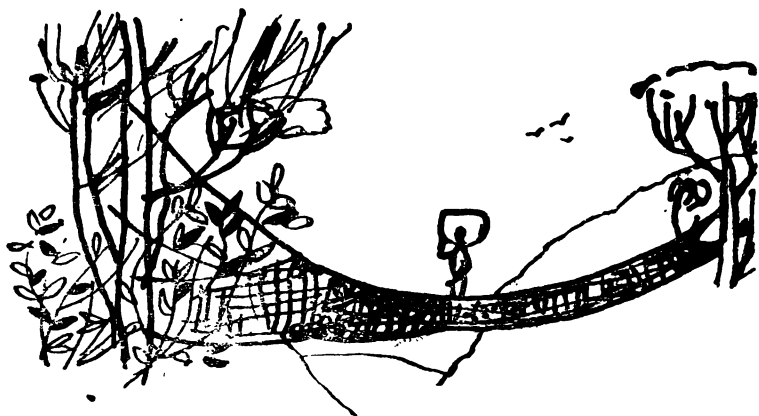
Но и это оказалось невозможным; на крышу обрушилась целая лавина дождя, потом стало холодно, и заснуть как следует было уже немыслимо, а ведь днем жара стояла такая, что мы едва передвигали ноги. Мне приснился дурной сон — будто я присутствую при убийстве президента. Дело происходило в Болахуне возле одной из зеленых арок, переброшенных через дорогу на тот случай, если он вздумает здесь проехать; его убивают меж ананасовых саженцев, посыпанных белым порошком, что означает: «Сердца наши радуются твоему приходу». Он едет в карете, и в него стреляет один из барабанщиков, которых я видел в Тайлахуне, а я тщетно пытаюсь послать об этом корреспонденцию в какую-то газету.

Проснувшись от холода в четыре часа утра, я вскочил босиком с постели, чтобы натянуть фуфайку. Через несколько дней я убедился, что из-за этой неосторожности подцепил тропическую блоху — крошечное насекомое, которое въедается в пальцы ног, проникает под кожу, откладывает там яйца и размножается, пока его не вырежут. Я снова заснул, и меня опять стали мучить кошмары: теперь мне снилось, что в Болахуне объявилась желтая лихорадка, меня посадили в карантин, а мой дневник сожгли; я проснулся со слезами ярости. Как мне не хотелось трогаться с места на рассвете!

Ранним утром Болахун показался нам земным раем, дюжина апельсинов стояла здесь один пенс, манговые плоды — четверть пенса три штуки, а бананы продавались за бесценок, их не успевали съедать, и они доставали муравьям и мухам. Вот, что отчетливее всего запомнилось мне на фоне однообразного лесного пейзажа: красивый полет маленьких ярких птиц (рисовых трупиалов), они словно ныряли у нас над головой; хрупкие желтые цветы, сидящие прямо на стволе; цветок, похожий на дикую розу, с прозрачными, как у примулы, лепестками, с маленьким красным пестиком и черными тычинками; бабочки, пальмы, козы, скалы, высокие пря-

мые серебристые деревья и мелькнувшие за тростниками силуэты женщин, шагавших куда-то грациозной походкой с корзинами на головах. Эти картины я и унес с собой в новые края.

Впервые, пускаясь в неведомый путь, я не надеялся найти в новых краях ничего лучшего, чем то, что оставил; я был готов к разочарованиям. И впервые разочарования не ждали меня.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ХОЗЯИН»

Марк разбудил меня в пять часов утра, скребя рукой о проволочную москитную сетку. Я послал его вперед вместе с носильщиком Ама из племени мандинго предупредить вождя в Кпангбламаи о нашем приходе и о том, что нам понадобятся кров и пища на тридцать человек; я просил также известить вождя в Пандемаи о том, что мы передумали и туда не придем. Ама взял мой чемодан и зашагал по тропинке в деревню. Он знал, что уходит из дому на несколько недель, но все его пожитки были увязаны в тряпку величиной с большой носовой платок.

Мы тронулись в половине восьмого. Длинная цепочка носильщиков потянулась с пригорка, на котором стояла миссия, и скрылась внизу в тумане. Старшина Ванде отлучился в деревню: он пошел попрощаться с женой. Одет он был в широкую рубашу и трусы, голову прикрывала

суконная шапочка. Сам Ванде шел без груза, даже его собственный узелок нес младший брат, которого он взял с собой на несколько дней. Ванде как нельзя больше напоминал английского десятника — веселого, нетребовательного, попыхвающего своей трубкой. Когда он не курил, он потряхивал трещоткой, сделанной из двух маленьких тыкв, куда были насыпаны зерна. Он шел в хвосте колонны, и если кто-нибудь из носильщиков выбивался из сил и должен был отдохнуть, он оставался с ним.

Целую милю по широкой утоптанной дороге на Колахун рядом с нами бежал вприпрыжку какой-то малыш. Он был не выше двух футов, в одной руке он держал пустую жестянку из-под консервированной колбасы, в другой — пустую жестянку из-под сгущенного молока. Его гнали домой, но он не слушался; чтобы не отстать, ему приходилось бежать, но он не отставал. Ему хотелось пойти с отцом. Вдоль колонны прокатился смех и крики, отец, наконец, услышал, остановился и велел малышу вернуться домой. Цепочка прошла мимо и исчезла; они остались одни — маленький ребенок, надутый, огорченный, упрямый, и отец, повторяющий слово «домой». Наконец, ушел и отец, но ребенок не двигался с места.

К прибытию президента глинистую дорогу расчистили: деревья по обочинам срубили, а стволы сбросили в глубокие, поросшие пальмами овраги. Густой туман низко висел между холмами, и определить расстояние до опушки леса было невозможно. Дорогу перебежал олень — небольшой коричневый олень, каких можно увидеть в любом английском парке, обыкновенный олень, а не королевская антилопа, встретить которую в наши дни в Либерии редкая удача для путешественника: размером она не больше кролика, дюймов десять в высоту, если не считать стройных ног, а рожки у нее не длиннее дюйма. Пока держался туман, шагать было хорошо, но все тенистые деревья вырубili, и я торопился оставить эту дорогу позади до того, как солнце достигнет зенита. В половине десятого мы пришли в Колахун, где дорога кончалась и находилась резиденция Ривса.

Мне пришло в голову, что хотя президент, как мне сообщили, и отправился дальше, а Ривс, по-видимому, его сопровождает, было бы все же разумно справиться, нет ли здесь окружного комиссара. Поселок опустел;

триумфальные арки из зеленых ветвей, воздвигнутые к прибытию президента, покрылись пылью, листья увяли. В стороне от хижин на огороженном участке стоял одинокий двухэтажный каменный дом, перед ним на шесте развевался флаг со звездой и продольными полосами. Это и был тот дом, который, по слухам, строился при помощи принудительного труда. Второй этаж придавал ему внушительный вид; он высился над поселком, словно не спуская с него глаз и зная все, что происходит вокруг; да, нашему длинному каравану было бы неразумно пытаться пройти стороной — дом все равно бы нас заметил.

Кругом было очень тихо, тишина стояла совсем воскресная; ни один человек не вышел из хижины, чтобы на нас поглазеть, и это выглядело странно — словно враг опустошил весь поселок; но, когда мы подошли поближе, я увидел десяток солдат в алых фесках с золотой звездой, маршировавших за оградой. В другом конце поселка на пригорке стояло нечто вроде беседки, и там тоже мелькала алая феска. Из-за ограды вышел нам навстречу маленький мулат с желтым лицом в черной феске. Да, подтвердил он, окружной комиссар здесь; и он тут же провел меня и двоюродного брата мимо часовых за ограду, оставив носильщиков и слуг снаружи. У меня сложилось впечатление, что нас ожидали; да и как могло быть иначе, ведь из окон второго этажа всегда кто-нибудь следил за дорогой.

Откуда-то слышались звуки патефона; по двору разносился голос Жозефины Бекер *, проникнутый забавной и слегка наигранной печалью. На миг все вокруг сделалось каким-то призрачным — и сидевшие в дорожной пыли носильщики, и замершие в тишине хижины, и уходивший за горизонт лес превратились просто в декорацию для обольстительной эстрадной дивы. Уже не верилось даже в реальность мистера Ривса, который, точно злодей в мелодраме, появился вдруг из-за кулис в алой феске и длинном до пят балахоне; его густые черные бакенбарды, серая, точно дубленая, кожа и чувственный рот были словно взяты напрокат из парижского мюзик-холла. Но вот кто-то наверху остановил патефон, и щеголеватый черный офицер маленького роста в блестящих,

* Известная негритянская эстрадная певица и танцовщица.

как зеркало, крагах избавил нас от мрачного общества мистера Ривса.

— Вас просят подняться наверх,— сказал он.— Президент сейчас примет вас.

Этого мы никак не ожидали. Я не просил свидания с президентом, полагая, что он находится в другом районе, и поневоле был немного огорошен. Костюм мой состоял из рубашки и трусов. На боку висела фляга; особенно смущала меня пыль, которой мы были покрыты с ног до головы; я вспоминал рассказы о правителях Либерии, о том, как они любят заставлять белых подолгу дожидаться у них в приемной и требуют, чтобы посетитель был одет как подобает.

Нас усадили в маленькой комнате верхнего этажа, и какой-то военный с револьверной кобурой у пояса поставил новую патефонную пластинку. На столе лежал роман Эдит Оливье «Кровь карлика». Черный офицер был щеголеват, изысканно вежлив, чрезвычайно внимателен; он напоминал фарфоровую статуэтку, с которой тщательно смахнули пыль. Не прошло и нескольких минут, как вошла молодая женщина в европейском платье, похожая скорее на китаянку, чем на африканку; у нее был косой разрез глаз и лицо, полное глубокого внутреннего покоя. Офицер представил ее как «одну из спутниц президента», а она не сказала ни слова, села возле патефона, взяла со стола колоду карт и принялась ее тасовать. Позднее я узнал, что отец ее был назначен членом Верховного суда; как видно, на либерийском Берегу царят нравы, господствовавшие при дворе Стюартов в Англии.

Она была самым очаровательным созданием, какое мне довелось видеть в Либерии; я не мог оторвать от нее глаз. Мне хотелось с ней заговорить, сказать, как приятно видеть ее в этом опустевшем, опаленном зноем поселке. Голос Жозефины Бекер — когда он оборвался, военный сменил пластинку — не мог с ней соперничать. Девушка была как внезапное откровение — вот такой могла стать Африка, если бы ей предоставили самой выбирать в Европе то, что действительно могло ее украсить; страна обещала нечто большее, чем мертвая риторика американской Декларации независимости. Я так и не сказал этой девушке ни слова. («Очень жарко шагать в такую погоду», — заметил блестящий маленький офицер, чтобы поддержать светский разговор.) Мне довелось еще раз

увидеть ее, но только издали — она стояла на балконе президентского дворца в Монровии, глядя на то, как негры кру демонстрируют свою преданность режиму; но она как живая сохранилась в моей памяти — одно из тех воспоминаний, которые долго влекут нас в давно покинутые места.

Тут вошел президент — человек средних лет по фамилии Барклей с седеющими курчавыми волосами, в темном шерстяном костюме и дешевой полосатой рубашке с мятым цветным галстуком, заколотым булавкой. Живое олицетворение Африки, полное очарования и покоя, выскользнуло из комнаты, и мы остались наедине с Вест-Индией, с ее любезными манерами и красноречием — целыми потоками красноречия. Президенту нельзя было отказать в энергии — он был политиком американской школы, но у меня сложилось твердое убеждение, что на африканском Берегу он нечто чужеродное. Он вел свою собственную игру, но, правда, играл с таким необычайным рвением, что и республике могли перепасть кое-какие крохи с его стола. Я спросил его, пользуется ли он такими же привилегиями, как президент Соединенных Штатов Америки. Он ответил, что его привилегии шире.

— Раз уж меня выбрали, — сказал он, — и раз я команду парадом, — слова из него так и сыпались, и сквозь выпренные политические сентенции все время проглядывало какое-то простодушное ребяческое хвастовство, — стало быть, теперь я здесь самый главный хозяин.

Деятельность либерийских политиков похожа на игру краплеными картами. Но в прошлом полагалось, сорвав куш, передать колоду партнеру. Существовало нечто вроде неписаного закона, согласно которому президент мог избираться на два срока, после чего должен был уступить свое место за пиршественным столом другому. Именно уступить: ведь, как совершенно точно выразился мистер Барклей, президент здесь главный хозяин, в его руках находятся газеты, и, что самое важное, он печатает и распространяет избирательные бюллетени. Когда в 1928 году переизбрали президента Кинга, он получил на 600 000 голосов больше, чем его противник Фолкнер, хотя общее число лиц, пользующихся избирательным правом, не превышало 15 000. Теперь мистер Барклей решил изменить старые порядки. В глазах своих противников он

вел нечестную игру; он относился к политике всерьез и может с некоторым основанием называть себя первым диктатором Либерии. До сих пор президент избирался на четыре года; мистер Барклей приурочил к очередным президентским выборам плебисцит, предлагая увеличить этот срок до восьми лет. Для того чтобы провести свое предложение, он мог использовать те же средства, какие должны были обеспечить ему баснословное большинство: ведь печатный станок находился в его ведении. В его распоряжении находилась и армия чиновников. Сверкая очками в золотой оправе и сияя доброжелательством, он объяснял мне, как очистил государственный аппарат и освободил его от влияния политиканов, как при заполнении вакансий заменил назначения экзаменами. Но он забыл упомянуть, что веревочка, которая приводила все в движение, по-прежнему оставалась у него в руках. Если кандидатуры признавались равноценными (а это совсем нетрудно устроить), право выбора кандидата было за президентом.

Все же нельзя не признать, что этот человек обладал силой воли и смелостью. До него ни один президент не отваживался на путешествие в глубь страны. Кинг совершил свой стремительный переход от границы Сьерра-Леоне под охраной двухсот солдат, но президента Барклея сопровождало всего каких-нибудь тридцать человек. Сейчас я мог их пересчитать — почти все они маршировали взад и вперед перед домом. Конечно, со времен мистера Кинга полковник Дэвис успел обезоружить племена, у них осталось всего по несколько винтовок в каждом крупном поселке, но в мечах, копьях и кинжалах все еще недостатка не было.

Правда, президент не засиживался на одном месте. Он передвигался очень быстро, форсированным маршем, появляясь там, где его не ждали, и наспех знакомился с обстановкой. Как я уже говорил, жители Болахуна не питали надежды, что Ривса когда-либо призовут к ответу. Их опасения оправдались; позже я узнал, что местные вожди, которых подкупили или запугали, не подали президенту никаких жалоб. Президент смог так же быстро вернуться в Монровию, как он оттуда прибыл. Он объявил, что население повсюду принимало его с восторгом, но ведь устроить пляски нетрудно, да и возвести триумфальные арки из ветвей и рассыпать белый порошок

тоже не слишком хлопотно. Мне ни разу не случилось встретить в глубине Либерии ни одного человека, который сказал бы доброе слово о столичных политических деятелях. Если люди отдавали предпочтение тому, а не другому президенту, так это просто потому, что им лучше жилось при одном комиссаре, чем при другом.

Но даже при самом худшем черном комиссаре им не приходилось терпеть того, что терпело население Французской Западной Африки при белых комиссарах. К тому же в этой первобытной, не знающей карт стране двадцать миль расстояния до резиденции комиссара порой равнялись пятидесяти годам жизни. Жителей предоставляли самим себе вместе с их «дьяволами», тайными обществами и всевозможными страхами, их предоставляли патриархальному гнету вождей. В их дела не вмешивались так, как вмешивались в дела населения любой белой колонии, и, право, это было к лучшему: разве можно сравнить «непросвещенных» негров из племени бузи, шагавших с гордой осанкой в своих длинных балахонах по узким лесным тропам, придерживая у пояса меч с рукояткой из слоновой кости, разве можно их сравнить с англоязырованными «просвещенными» черными из Сьерра-Леоне, в военной форме, полосатых рубашках и грязных тропических шлемах! В племени бузи каждый глава семейства имел свой меч (он брал его с собой всякий раз, покидая деревню) и каждый юноша имел кинжал; в простейшем орудии труда земледельца — ноже с широким лезвием в красивых кожаных ножнах — было что-то рыцарское, свидетельствовавшее о более древней цивилизации, чем та, которая породила обитые жестью бараки на Берегу. Даже самые бедные племена — гио и манго, соседи бузи, даже и они, с набедренными повязками и изъеденным язвами телом, были в своих лесах заброшены не больше, чем жители британского протектората, опекаемые одним-единственным санитарным инспектором.

ГОСТЕПРИИМНОЕ СЕЛЕНИЕ ИПАНГБЛАМАН

Его превосходительство господин президент больше часу говорил со мной в комнатке, из окна которой виднелся по-воскресному неподвижный поселок. Президент был очень предупредителен, и мне было неприятно обма-

нывать его, уверяя, будто Зигита конечная цель моего путешествия.

В Западной провинции окружных комиссаров предупредили о моем посещении, и мне хотелось как можно скорее проскочить туда, где меня не ждали. Как можно скорее... Но нелегко было остановить разыгравшуюся фантазию президента, рисовавшую ему будущие дороги, самолеты, автомобили. Парадоксальное положение! Черный расхваливает блага цивилизации, а белый слушает его со скептической улыбкой, но ведь белый выбрался из самой гущи делового, вечно куда-то спешащего мира и никогда не видел там ничего прелестнее тех тканей племени бузи, которые сейчас разложил перед ним президент. В них не было грубой кустарщины, не было ничего искусственного, нарочитого, ничего, что напоминало бы прилавок благотворительного базара и милых дам-патронесс с бледно-голубыми глазами навывкате; в их рисунке была своеобразная изысканность, но эта изысканность имела другие корни, чем наша,— куда более глубокие; к ней не примешивалась складывавшаяся столетиями артистическая нарочитость.

Не было ничего общего между этими тканями и тканями племени мандинго во Французской Гвинее, которые я купил на базаре в Болахуне и которые без труда можно купить (за двойную цену) на Берегу, во Фритауне и в Монровии. Племя мандинго занимается торговлей; поле его деятельности, если измерять не милями, а преодолеваемыми препятствиями, огромно: тут и тропические леса, и болота, и стремительные потоки, и разлившиеся реки. Торговца из племени мандинго видишь и в океанском порту, его можно встретить и в пятистах милях оттуда, в местах, куда никогда не ступала нога белого человека. Его узнаешь безошибочно: высокий рост, бритая голова, семитские черты лица, алая феска, длинная одежда, ладонка с изречением из корана на шее,— да, за ним долгая торговая родословная. Порой он ездит верхом на одной из немногих лошадей, которые встречаются в глубине страны, но чаще всего путешествует пешком. Во Французской Гвинее я говорил с человеком из племени мандинго, который подробно описал мне весь маршрут до Берега — к Кейп-Пальмас и Гран-Баса. Он совершал немыслимое путешествие сквозь лесную глушь столь же регулярно, как коммивояжер, сбывающий шел-

ковые чулки, ездит на поезде прямого сообщения в Брайтон *. Но одежда, мечи и ножи мандинго ничем не лучше ремесленных изделий Центральной Европы; эта тяжелая ткань вся в ярких, кричащих ромбах потакает грубым вкусам туристов. И любопытно — во Французскую Гвинею туристы не заглядывают, да и вообще в прилегающем к Либерии дальнем уголке этой колонии белые люди наперечет. Приходится носить товары через джунгли за сотни километров, чтобы добраться до такого потребителя, которому нравится безвкусная подделка.

Хоть я и чувствовал, что нарушаю этикет Белого дома, мне первому пришлось подняться в знак окончания визита — я боялся, что мы не успеем дойти засветло до Кпангбламаи. Мы все еще в основном придерживались маршрута, который проложил, путешествуя по Либерии в 1919 году, сэр Альфред Шарп. Вдоль северной границы страны этот путь на всем своем протяжении идет по пересеченной местности приблизительно на высоте 1600 футов. Шарп писал впоследствии, что не знает в Африке более трудной дороги, зато она не так скучна, как путь через центральный лесной массив, где одна узкая тропинка, проложенная в однообразной зеленой чаще, как две капли воды похожа на другую и где часами не видишь ничего, кроме ног идущего впереди носильщика и корней деревьев. Здесь же, между Колахуном и Кпангбламаи, попадались холмы, через которые пришлось переваливать, река Мано, которую мы пересекли по широкому висячему мосту, сплетенному из лиан. Над ручьями носились большие бабочки с хвостами, как у ласточек; другие бабочки, похожие на маленькие крылатые примулы, отдыхали на мокром песке и тучами поднимались нам навстречу; а как-то раз нам встретилась небольшая, заросшая папоротником прогалина, теплая и милая, как английское лето.

Эти первые дни путешествия таили в себе красоту, которая потом исчезла бесследно; все было нам вновь: деревни, где женщины толкли рис; камни над могилами вождей; коровы, которые терлись рогами о стены хижин; вкус теплой кипяченой фильтрованной воды на запекшихся губах; и прежде всего ощущение, что ты идешь не зря, что ты куда-то углубляешься. Оно заставляло меня

* Курорт на южном побережье Англии.

ускорять шаг, и я шел быстрее, чем носильщики и мой брат. Каждый переход в эту первую неделю путешествия был для меня стремительным рывком; я не пользовался своим гамаком, его носильщики шли налегке и от меня не отставали; между нами возникало что-то вроде приятельских отношений — мы по-братски делили апельсины, вместе отдыхали у лесного ручья, где они пили воду из старых консервных банок, которые тщательно берегли, а я из своей фляги.

Одним из моих спутников был Бабу из племени бузи; на отдыхе он потихоньку наигрывал на арфе; он не знал ни слова по-английски, но все же умудрялся дружески меня ободрить, показывая, что он на моей стороне в спорах, которые разгорались у нас все чаще. Бабу был одним из немногих носильщиков, куривших трубку (маленькую глиняную трубочку), и легко мог сойти за солидного обладателя сезонного проездного билета, за надежную опору семьи в тоскливом дальнем пригороде Лондона. Он и сам тосковал все сильнее по мере того, как длилось наше путешествие, у него просто не хватало сил для такого перехода; тем не менее на него всегда можно было положиться, и он не жаловался, пока не расхворался так, что не мог сделать дальше ни шагу. На первых порах он был единственным носильщиком из племени бузи; не слишком общительный, он чаще всего сидел в сторонке, покуривая трубку, а иногда подходил к порогу моей хижины, благожелательно улыбался и снова отходил прочь.

Вторым из тех, кто в этот день шел со мной впереди, был Альфред — человек совсем иного склада и внешне (шапочка из грубого сукна и трусы) и внутренне. Альфред умел читать и писать, говорил по-английски и вел себя так, будто его пригласили на пикник; даже от пустого гамака он исхитрился освободиться и нес только арфу. Этот обливавшийся потом толстяк был ужасный подхалим, он услужливо указывал мне на все, что, по его мнению, заслуживало интереса, и беспрерывно вертелся возле меня; но среди носильщиков он стал рассадником недовольства. Ему всегда было известно, что поселок, где мы хотели ночевать, «слишком далеко»; когда бы носильщики ни собрались кучкой, чтобы высказать свои жалобы, я неизменно слышал его утробное ворчание, а минутой спустя он уже снова был тут как тут,

возле меня, стараясь услужить, вкрадчивый, лстивый, кичащийся знанием английского языка.

Селение Кпангбламаи находилось часах в четырех с половиной пути от Колахуна. Когда начала спадать жара, оно неожиданно возникло перед нами на одном из неизменных холмов, и вот уже Марк, красуясь, бежал вниз по склону, чтобы встретить нас у ручья. С ним был его школьный товарищ Питер, сын местного вождя; по словам Марка, вождь жил в «много-много красивом доме», увешанном картинами. То была четырехугольная хижина, похожая на небольшую конюшню с двумя стойлами и верандой. Стойла оказались спальнями; в них находились глинобитные лежанки, устланные циновками. Стены были сплошь заклеены старыми рекламными плакатами и фотографиями из иллюстрированных журналов, большей частью немецких или американских. Над столом, сделанным из старого ящика, красовалось обращение генерала Першинга к молодежи; красавицы скалили зубы, начищенные хлородонтом; brave мужчины красовались в костюмах, купленных в магазине готового платья; какая-то девушка ломала себе голову, почему она не может стать душой общества; а неизвестный военный громил одну из статей Версальского договора. Дом был, что и говорить, великолепен — единственный в своем роде во всем селении; до самой Монровии мы не находили в деревнях лучшего пристанища.

Гостеприимство вождя в Кпангбламаи нас просто ошеломило. Не успели мы присесть, передохнуть и выпить глоток воды, как перед нами уже появился этот морщинистый, сдержанный старик в тюрбане и шелковой хламиде, напоминавшей дамский вечерний туалет на литературном вечере времен короля Эдуарда VII. С ним пришел его советник в обыкновенном домотканом балахоне в синюю и белую полоску и потертом котелке; он был еще старше вождя. Ни тот, ни другой не говорили ни слова по-английски, но в то время как вождь всем своим обликом производил впечатление человека доброжелательного, чуть грустного и усталого, советник был полон хитрости, язвительности, грубоватого юмора. Он лукаво хихикал, и я готов был поклясться, что он-то уж знает цену каждому в поселке, уж он-то во всяком случае не верит, подобно вождю, в высокие идеалы: случись ему принадлежать к другой расе, он был бы одним из тех

старичков, которые с ласковым, безобидным видом щиплют в автобусах девушек. Вождь и его советник были неразлучны и повсюду показывались вместе, как возвышенная и низменная стороны человеческой натуры.

Они принесли нам миску яиц (все до единого оказались тухлыми), большую корзину апельсинов и три тыквенные фляги с пальмовым вином. Впервые меня так одолела жажда, что я с удовольствием пил пальмовое вино; я осушил целую тыкву, совсем позабыв о том, что могу схватить дизентерию, если сосуд грязен или вино несвежее (цветом оно напоминало солодовое пиво, а вкусом — ячменный настой). Вождь и советник уселись на одну из лежанок, и я угостил их сигаретами. Все хранили молчание. Вскоре они поднялись и ушли, но через минуту вождь вернулся с курицей. В тот первый день мне еще не были знакомы правила этикета; я тут же одаривал вождя за каждый преподнесенный им подарок, а подарки следовали один за другим. Позднее я узнал от Амеду, что мне полагается одаривать хозяина только раз — в конце пребывания.

Ужасно хотелось выкупаться, да и побриться я не успел перед выходом из Болахуна, но гостеприимный вождь не давал нам ни отдыха, ни сроку. Не успел он, подарив курицу, удалиться, как пришел его сын с сообщением, что «дьявол» собирается сплясать для дорогих гостей; и вот уже вместе с вождем и советником мы сидим под палящим солнцем, ожидая появления «дьявола». На этот раз «дьявол» принадлежал к женскому обществу; он прибыл из Пандемаи (на земле бузи) и держал путь в Колахун, чтобы показать свое искусство самому президенту.

«Дьявол» в своем самодельном плаще вынырнул из-за крайних хижин маленького, чисто выбеленного селения и стал приближаться, жеманно покачиваясь, вертя огромным турнюром из пальмовых листьев и кивая черной маской. Взмах турнюра — и мы увидели широкие панталоны из лыка, все вместе выглядело как карикатура на дамский наряд прошлого века. На взгляд европейца, этот «дьявол» был чистейшей пародией на женственность, пародией на скромность; узкая, длинная маска, выражавшая жестокость, раскосые глаза и чувственный рот вместе с этими ужимками скромницы придавали «дьяволу» забавный и слегка непристойный вид. «Дьявол»

стал крутиться на одном месте, вертя турнюром, из-под которого выглядывали панталоны, переводчик бегал вокруг него с маленьким кнутиком. В памяти оживала ведьма далекого детства — может быть, потому, что «дьявол» был таким женственным, хотя и не показывал, что он женщина, а может быть, из-за его странного головного убора: высокой, увенчанной пучком перьев жерди, чем-то походившей на остроконечную шляпу. «Дьявол» опустил на землю и тихим вкрадчивым голосом произнес приветствие. Перед нами выступал куда более умелый танцор, чем Ландоу. Сравнивать дикие прыжки Ландоу, вполне соответствовавшие его грубой маске, с наивно жеманными и зловещими повадками этого «женщины-дьявола», было примерно то же, что сравнивать зверство с жестокостью. Возможно, тут сказывались племенные различия: такую маску, как эта, не сумел бы сделать ни один мастер из племени банде. Маска Ландоу не поднималась выше уровня детской фантазии, взбудораженной ночным кошмаром; тут мы видели произведение искусства, сознательно поставленного на службу вере.

После пляски сын вождя Питер Боно сказал, что отец хочет показать гостям свое селение. Кпангбламаи не превышало ста пятидесяти ярдов в длину, но прежде чем мы успели ознакомиться с жизнью этой деревушки, я уже чувствовал себя почти так же, как член английского королевского дома после осмотра промышленной выставки. Мне не дали отдохнуть с дороги, пальмовое вино легло в желудке точно камень, пропеченное солнцем плоскогорье дышало зноем, и я уже думал, что не выдержу и потеряю сознание. Нам показали работу пятерых ткачей — они сидели врозь под маленькими навесами из пальмовых листьев; какой-то человек кроил из кожи ножи для ножей; в кузнице ковали клинки — один кузнец раздувал большие кожаные мехи, другой бил молотом по раскаленному добела клинку (я присмотрелся бы к ним повнимательнее, если бы уже знал тогда, какую важную роль играет кузнец в деревенской жизни — часто он является местным «дьяволом», а слово его весит больше, чем слово вождя). На пороге одной из хижин две женщины пряли, они сучили нити, вытягивая их из груды хлопка. За деревянной загородкой другая женщина варила в огромном котле листья какого-то лесного растения — она делала темно-синюю краску. Удушливый пар над котлом, люди,

которые теснились вокруг, ощупывая мои трусы и рукава рубашки, необходимость изображать на лице живой интерес — все это вместе взятое лишало меня последних сил, доводило до дурноты. Промышленной выставке не было видно конца. Кпангбламаи стоит на холмике размером чуть больше Круглого пруда*; куда ни взглянешь, в просвете между головами людей видны деревья, обступившие хижины, а над деревьями — высокий лесистый гребень Пандемаи; но в этот жаркий и душный вечер Кпангбламаи, казалось, не будет конца, как лабиринту, из которого не знаешь выхода.

Две женщины сидят на земле, доставая хлопок из коробочек; кучка женщин выжимает из кокосовых орехов густое желтое масло; еще один ткач... Наконец, мы снова очутились в своей хижине; оттуда вынесли столы и стулья. От вождя получен новый подарок — козленок; он удрал, и за ним по всей деревне понеслась шумная погоня, пока его не привели обратно и не привязали. Брат лег спать, он и думать не мог о еде, и я в одиночестве вкушал настоящий английский ужин: сардины с гренками, горячий бифштекс, от которого шел пар, пудинг с почками, сладкий омлет, запивая все это виски с апельсиновым соком. Не успел я проглотить второе блюдо, как Питер Боно просунул голову сквозь сетку и сообщил, что нас дожидается его отец; и в самом деле, старый вождь в своем «вечернем туалете» и тюрбане сидел на стуле у порога. Он привел с собой целый оркестр, и, пока я ужинал, тот наигрывал свои монотонные, звенящие мелодии. Вождю не о чем было со мной разговаривать; он сидел в сторонке, всеми брошенный, довольный независимостью, в то время как советник бесстыдно хихикал где-то рядом в темноте, пока, наконец, и он не растворился в безлунной ночи, унеся с собой стул.

Но, прежде чем лечь спать, мне еще следовало выяснить, куда двигаться дальше. Врач в миссии говорил, что за день мы с легкостью дойдем из Кпангбламаи до населенного пункта, который он называл Дагомаи, затем за один большой переход достигнем Никобузу, а оттуда доберемся до Зигиты. Ему самому не приходилось уходить так далеко в сторону Ганты, но к югу от Зигиты, в Зорзоре, есть лютеранская миссия, там мы, наверно, раз-

* Маленький пруд в лондонском Кенсингтонском парке.

узнаем, как идти дальше. Область, лежавшая к востоку, не была обозначена на картах голландских золотоискателей.

Вся беда была в том, что никто здесь ничего не слышал о Дагомаи. Ни Питер Боно, ни его отец, ни старый советник. Единственное знакомое им селение между Зигитой и Кпангбламаи было Пандемаи. Но для дневного перехода оно находилось слишком близко, а, кроме того, я не рассчитывал на любезный прием со стороны вождя, ожидавшего меня днем раньше.

— Дагомаи, Дагомаи,— повторял я в надежде, что кто-нибудь слышал об этом селении.

— Дуогобмаи? — с сомнением переспросил, наконец, вождь.

Это звучало очень похоже, к тому же Дуогобмаи лежало на пути в Никобузу; я решил, что это и есть то место, которое имел в виду врач.

— Слишком далеко,— вмешался Альфред,— слишком далеко.

Носильщики сгрудились вокруг, и он стал им нашептывать, как это далеко; они еще не привыкли к нам и были полны подозрительности — семена падали на благодатную почву. Но я не верил Альфреду: даже жена врача совершила пеший переход в Дагомаи, а я был теперь убежден, что Дуогобмаи и Дагомаи одно и то же. Такое убеждение представляло для меня и прямую выгоду, ведь время — деньги; к тому же я не хотел проявлять слабохарактерность в первый же день своего пребывания в глубине Либерии.

Лежа на койке без сна, я час за часом слышал тихие звуки арфы и шепот Альфреда, увещевавшего носильщиков; я размышлял о том, что мне делать, если они откажутся повиноваться. Наверно, такие же мысли волнуют нового классного наставника в школе, но мне никогда не доводилось быть классным наставником, и я никогда еще не испытывал такого унижительного чувства зависимости от чужого послушания. Несмотря ни на что, я потом был рад, что ни минуты не верил Альфреду — елейному, хитрому, лстивому, вечно недовольному Альфреду.

В эту ночь я впервые спал в деревенской хижине и по глупости (желая уединиться) закрыл дверь, как, впрочем, поступают и местные жители из страха перед

дикими зверями. Никогда еще мне не было так жарко: жара душила, как одеяло на лице, даже тонкая муслиновая москитная сетка казалась воздухо непроницаемой завесой. Зато по крайней мере крыс не было; в соломе на крыше слышались только редкие шорохи; и в конце концов я заснул, несмотря на шепот Альфреда, музыку, жару и непривычную обстановку.

ПЕРВОЗДАННЫЕ КРАЯ

В пять утра меня разбудили Марк и Ама, которых я снова посылал вперед, чтобы известить вождя в Дуогоб-май о нашем прибытии. Полезно было хоть на время избавиться от Ама: Ванде назначил его своим помощником, но я уже понял, что он не нравится остальным носильщикам. Среди носильщиков он один принадлежал к племени мандинго, а в эту первую неделю путешествия племенная рознь почти все время приводила к столкновениям. Ама был сильным, надежным и самым приятным в этой довольно-таки неприглядной компании, но у него не было ни малейшего чувства юмора, и остальные безжалостно его дразнили, пока он не впадал в угрюмое озлобление.

Марк и Ама опередили нас на три часа, так как гостеприимство вождя еще далеко не истощилось. Двоюродному брату он подарил кожаный кошель местного производства, украшенный яркими, кричащими узорами, наподобие кожаных изделий итальянских кустарей, а сын вождя подарил мне десяток ножей из кузницы. К несчастью, гостеприимство вождя распространилось и на носильщиков: он накормил их перед уходом до отвала.

Носильщик привык питаться раз в день, по вечерам; он живет впроголодь, и только жестокий хозяин решился бы лишить его неожиданного удовольствия — поесть лишний раз. Добросердечность вождя на несколько минут осчастливила носильщиков, но когда почти сразу же вслед за тем им стало невозможно шагать с тяжелым грузом на полный желудок, они не были в состоянии понять, что их мучения — результат полученного удовольствия. Затуманенные несварением желудка мозги сверлила одна нехитрая мысль: «С нами плохо обращаются».

Меня об этом предупреждали заранее, и я знал, что произойдет; не прошло и пяти минут, как они принялись бунтовать. Зато и отвлечь их было нетрудно, точь-в-точь как детей, и когда кто-то подарил мне маленькую серую обезьянку, у них снова поднялось настроение. Они тыкали в обезьянку палками. Они перевертывали ее вверх ногами. Они волочили ее головой по земле. Зверек вопил, пытался их укусить и водил по сторонам налитыми кровью глазами в поисках спасения. Когда его на минутку оставили в покое, он сел, уткнув голову в морщинистые ладони, словно плакал. Главными мучителями обезьянки были Ламина и Альфред, они вели себя с ней как школьные забияки с новичком, который не может дать сдачи; остальным нравилась эта забава, в минуты скуки они тоже мучили обезьянку, но все же иногда обращались с ней ласково — кормили кусочками банана и орехами кола, а спустя некоторое время вовсе перестали обращать на нее внимание. Даже Ламина в конце концов от нее отвязался, и Марк взял ее себе в товарищи. Дня через четыре она уже бегала за ним по пятам; всю дорогу через леса она сидела у него на плече, пока в Ганте не удрала на свободу; запуская руки ему в волосы, она искала насекомых. Ни разу она не пыталась его укусить. Он никогда с ней не заговаривал; их союз был молчаливым.

Только к восьми часам носильщики кончили свою трапезу и приготовились выступать. Они еле двигались, ко всему придирались, и я предпочел уйти вперед с двумя людьми, которые несли мой пустой гамак. Шествие возглавлял Альфред, волоча за собой на веревке обезьяну, за ним двигался Бабу с двумя арфами. Чуть ли не сразу мы очутились в лесу, это была опушка гигантских зарослей, покрывающих всю Либерию почти до самого океана. Когда мы поднялись на гребень невысокого, изрезанного трещинами холма, сплошь усеянного круглыми хижинами, я почувствовал себя довольно неловко: жители деревушки стояли в дверях, глядя во все глаза на первого белого, которого увидели за долгое время. Вероятно, надо было быть кудесником, пусть даже захудалым, чтобы вдруг вынырнуть из леса вот так, налегке, с двумя арфами и обезьяной.

Дальше мы встретили трех человек с длинными изогнутыми ножами, они расчищали тропинку; Альфред

с ними заговорил; они были из Пандемаи и сказали, что их вождь ожидал накануне какого-то белого, он вычистил хижину и приготовил еды на тридцать человек. Альфред намекнул, что неплохо было бы заночевать у этого вождя. Иначе он может обидеться. Дуогобмаи слишком далеко, слишком далеко... Альфред спросил об этом людей, расчищавших тропинку. Они покачали головой. Альфред тут же заявил, что в Дуогобмаи за день не доберешься. Но я не понимал местного языка, а Бабу, которому я доверял, не говорил по-английски; Альфреда же я считал лжецом. Но порой и лжец говорит правду.

Чуть дальше тучи бабочек, полоска песку и крошечный ручеек обозначили границу между землями племени банде и племени бузи; вскоре мы вышли на широкую, залитую солнцем вырубку под самым Пандемаи. У дороги строился каменный дом с оградой; из калитки навстречу нам вышел негр в европейском костюме с поношенным белым шлемом на голове, он широко улыбался, снимал шлем и снова улыбался. Это был человек средних лет с жестким и неприятным лицом, которое прикрывала защитная маска придури и подхалимства.

— Мистер Грин,— сказал он,— мы ждали вас вчера вечером.

Он знал мое имя, беспокойно и подобострастно смеялся после каждого слова, и по всему его облику можно было безошибочно угадать священнослужителя. Запахло нагорной проповедью, правда слегка прокисшей. Это был миссионер из Монровии, сейчас он занимался постройкой нового здания для своей миссии. Как и мистер Ривс, он верил в бетон, как и мистер Ривс, умел держать в руках своих черных собратьев.

— Вождь приготовил для вас вчера вечером все необходимое,— сказал он и снова засмеялся.

Миссионер повел нас в свой двухкомнатный дом в поселке. Дом так и кишел насекомыми; мы успели в этом убедиться, не посидев еще и минуты на крыльце, пока хозяин угощал нас бананами из деревянной миски.

В 1919 году Альфред Шарп проходил через «старинный укрепленный поселок» Пандемаи (так отметил он в своих записях) и был принят вождем с большим гостеприимством. Вероятно, тогда здесь еще не было черного миссионера; теперь поселок точно вымер. Пришел вождь,

угрюмый, загнанный человек, он принес нам дары — курицу и ведро риса — с таким видом, точно у него отбирали их силой. Миссионер управлял им железной рукой. Помня о пропавшем ужине и напрасных хлопотах накануне, я хотел «одарить» вождя пятью шиллингами, но миссионер схватил меня за руку. Он заявил, что не допустит этого; мне незачем давать вождю что бы то ни было: я же гость страны. В конце концов он разрешил мне вручить вождю два шиллинга — тот стоял рядышком с видом побитой собаки; видно было, что в нем кроется ненависть честного человека, который беспомощно наблюдает, как два бандита пререкаются из-за его имущества.

Миссионер высчитал, что до Дугобмаи еще шесть часов пути. Это было неутешительно (мы уже отшагали больше двух часов), но ничто не могло заставить меня здесь задержаться. Меня смущала не только откровенная неприязнь вождя и кишевшие в доме насекомые — я все еще вел счет времени на европейский лад, меня не успела одолеть косность и *laissez-faire* * Африки. Ведь я решил добраться к вечеру до Дугобмаи, разве можно отказываться теперь от этого намерения? Я не был настолько уверен в себе, чтобы рассматривать свое путешествие как нечто большее, нежели беглый налет на первозданные края.

В детстве мне почти каждую ночь снился один и тот же страшный сон. Мне снилось, будто я иду в детскую по темному коридору. Перед дверью детской стоит бельевой шкаф, и там подстерегает меня ведьма, похожая на «дьявола» из Кпангбламаи — женщина, хотя в ней нет ничего человеческого. В детской безопасно, но я не могу туда проникнуть. Я падаю ничком на пол, и ведьма кидается на меня. Лишь много лет спустя мне удалось от нее избавиться — я бросился стремглав мимо нее в детскую, и с тех пор этот сон мне больше не снился. Теперь я как будто опять очутился в темном коридоре: мне нужно было разглядеть ведьму, но я еще был не в силах в нее всмотреться.

Вот почему я и не стал мешкать, и хотя носильщики ворчали, а Альфред снова нашептывал мне на ухо: «Слишком далеко, лучше останемся здесь, слишком да-

* Беспечность (франц.).

леко», я настоял на своем. Не задумываясь, я поручился, что до поселка Дуогобмаи рукой подать. Я был твердо убежден, что черные всегда преувеличивают, тогда как на самом деле у них просто слишком смутное понятие о времени, и они с такой же легкостью преуменьшают его, с какою преувеличивают.

— Отсюда нам не больше пяти часов ходу, — заявил я. — Я знаю. Так сказал белый доктор из миссии Святого креста.

«Не больше пяти часов», — повторял я себе все чаще, по мере того как усиливался полуденный зной — им несло даже от иссохшей земли, он хватал путников за ноги с тем же усердием, что и корни деревьев, он накалял тропический шлем так, что, сняв его и подставив голову солнечным лучам, мы испытывали на миг чувство прохлады. Мы двигались по лесу, но это все еще была только опушка, тянувшаяся к северу, к землям племени мандинго; выжженная, редкая растительность давала слишком скудную тень. Над нашими головами пролетели какие-то птицы; их крылья скрипели, как несмазанные дверные петли. Обезьяна промчалась по ветвям огромного серого дерева, высившегося над землей, точно сторожевая башня. На высоте соборного шпиля обезьяна прыгнула в воздух, пролетела футов пятьдесят вниз и исчезла в зеленой гуще пальм и плюща. Носильщик с арфами прыгнул в сторону — что-то скользнуло в траве прямо у него под ногами. Больше я не видел вокруг ничего живого, если не считать все сильнее и сильнее отстававшей цепочки угрюмых носильщиков. Я подумал о том, удастся ли их удержать до конца путешествия; а если они меня бросят, где я возьму денег, чтобы добраться до Берега? Хватит ли у меня характера, размышлял я, отказать им в расчете, если дело дойдет до решающего объяснения, или же, сдавшись, я вернусь с ними вместе в Болахун?

Лес становился все гуще, тропинки все уже. Ноги спотыкались о корни деревьев. Двоюродный брат и его носильщики исчезли из виду: их уже и не было слышно. Казалось, все кругом вымерло, кроме змей и птиц — да и тех теперь не было видно — и еще муравьев. Здешние края просто рай для муравьев. Их огромные желтые постройки в двенадцать футов высотой видны в самых густых зарослях, они кольцом окружают деревни. Пол-

чища муравьев перебегают через тропинки, словно армии карфагенян; по обе стороны пути движутся их патрули; так и видишь, как напрягаются тончайшие канаты, как щелкают микроскопические бичи. Иногда возле ручьев попадаются другие муравьи — воинственные партизаны; они нападают на человека в одиночку и вонзают в кожу крошечные клещи; носки для них не помеха; их укус похож на укол ножом. Порой вам кажется, что они-то и есть подлинные хозяева и властители лесов, муравьи, а не жители деревушек; деревушки попадаютсся каждые два-три часа, они стоят над скудными ручейками, окаймленные узким кольцом деревьев кола с листьями, загнутыми кверху большими уродливыми желтыми чашами; и уж во всяком случае — муравьи, а не белые люди, которые прошли по этим местам и оставили на маленькой просеке, возле самой тропинки, заброшенный золотой рудничок — глубокую яму длиной с гроб, а подле лужи стоячей воды несколько прогнивших и обомшелых деревянных стоек. Таковы следы всепоглощающей страсти белых людей, проникающих в эту мертвую чашу, — страсти столь же потаенной, скрываеваемой ценой таких же уловок и хранимой, вероятно, столь же бережно, как и секреты тех лесных хижин, которые стоят вдалеке от тропинок под защитой шеренги низкорослых обугленных деревьев, напоминающих кладбищенские кипарисы или изгороди из переплетенных пальмовых ветвей. На окраине одной деревни несколько банановых деревьев обнесено оградой: это «бананы дьявола».

Странно было здесь, в этом чахлом, заброшенном всеми лесу, вдруг услышать от проводника, показывавшего на едва заметную тропу, что это «дорога» на Воинйему. Носильщики все еще находились вблизи родных мест, и хотя тропинок попадалось множество и они были перепутаны, как детские каракули на листе бумаги, Бабу умел в них разбираться. Он не задумываясь закрывал ненужные тропы несколькими пригоршнями листьев, чтобы указать путь идущим позади. Это были единственные дорожные знаки в зарослях.

Под отвесными лучами солнца мы добрались до следующей деревни — я, два носильщика моего гамака и Амеду. Нас провели в дом совета старейшин — низкий сарай под соломенной крышей посреди деревни; в этот час там дремали, вкушая полуденный отдых, старики.

Я сел в гамак, висевший у одной из стен хижины, а старики разместились напротив, жмурясь и почесываясь. Жара стояла такая, что было не до разговоров. В узкой полоске тени лежала в пыли ничком и крепко спала какая-то женщина. Курицы скребли пол в поисках рисовых зерен, сыпавшихся иногда из соломы между стропилами. Минута тянулась за минутой; я тоже стал почесываться. Никто меня не кусал, это было чисто нервное. Старики жмурились и скребли под мышками, голову и бедра; они запускали пятерню под складки одежды в поисках нового местечка, которое можно было почесать. Жара стояла и в самом деле такая, что трудно было интересоваться чем бы то ни было; и все же в хижину заглянуло несколько мужчин помоложе, они уселись на нас поглазеть и тоже принялись чесаться. Задержка меня раздражала. Хотелось поскорее пообедать и уйти, но прошел еще целый час, прежде чем, спотыкаясь, появились первые носильщики — уставшие и угрюмые, полные подозрений и недовольства. Альфред расхаживал среди них, подбивая их на мятеж и расспрашивая жителей деревни, как далек еще путь в Дуогобмаи.

Но я стоял на своем. У меня не хватало опыта. Все белые, которых я встречал в Сьерра-Леоне, твердили в один голос, что черных надо держать в узде, что они лгут и валяют дурака; вот я и думал, что они лгут и теперь, испытывая меня, как школьники проверяют, строг ли новый учитель. И я проявлял все большее упорство — так слабохарактерный учитель, знающий свою слабость, напускает на себя строгость при встрече с новым классом; он не может понять, кто из учеников говорит правду, а кто врет, и восстанавливает против себя честных ребят тем, что причисляет их к нечестным. Поев на скорую руку, чтобы сократить привал, я велел Ванде нагрузить Альфреда, поставив его к гамаку моего двоюродного брата. Я и слушать не хотел ничьих доводов.

Ламина тихонько сказал мне на ухо:

— Амеду очень плохо ноги.

У меня по крайней мере хватало здравого смысла не восстанавливать против себя слуг. Все удобства, которые были хоть как-то доступны в этой стране, целиком зависели от них: как бы они ни уставали за день, они прежде всего заботились о том, чтобы расставить наши койки и

стулья, приготовить нам пищу, вскипятить воду для фильтра. Я сказал:

— Если у него плохо с ногами, мы остаемся.

— Амеду идти,— ответил Ламина.— Он говорит, что не валять дурака.

— Осталось только три часа ходу,— сказал я.— Только три часа, так говорил доктор.

Слуги мне не поверили, но пошли к носильщикам, повторяя мои слова; они всячески старались прикинуться, будто верят. Примечательное свойство черного слуги: одной из своих обязанностей он считает преданность хозяину.

Я вовсе не хвалю его за это. Преданность не следовало бы продавать за деньги. На этот раз преданность моих людей позволила мне вконец их замучить. Не оглядываясь, я двинулся из деревни с двумя носильщиками, оставив позади остальных. Они ведь получали по три шиллинга в неделю, а в эту сумму входила не только плата за восемь и больше часов переноски тяжестей, но и плата за преданность. Когда я их оставил, эти простаки держали в своих руках денежный ящик, я был здесь чужеземцем, мои слуги тоже, носильщики спокойно могли поделить между собой деньги и разойтись по домам. Но, хотя мы знали их всего два дня, я почти не сомневался, что они пойдут за мной. Мне следовало бы презирать их за это, как я презирал бы дома, в Англии, покорного маленького конторщика, который не знает ничего на свете важнее своей конторы. Но я их за это любил. Тут было совсем другое. В их преданности не было и намек на трусость, они не считали, что богатство дает человеку моральное превосходство. Да, они продавали свою преданность, но это была честная сделка: преданность стоила столько-то мешков рису или столько-то фляг пальмового масла. Они не симулировали привязанности, которой не чувствовали. Любовь была здесь совершенно односторонней, какой она и должна быть.

И вот они двинулись за мной, хотя и сильно от меня отстали. Прошло три часа, а никаких признаков Дуогобмаи все еще не было. После четырех часов дня полуденный зной начал спадать. Еще одна деревня предложила гостеприимство, но я его не принял. Бабу и Колиева задержались попить воды возле ветхой хижины, но я

упрямо шел вперед и снова углубился в лес. За мной увязался один из местных жителей. Он знал несколько слов по-английски: по его уверениям, немисливо было добраться в Дуогобмаи до темноты. Прежде чем попасть туда, оставалось пройти еще одну деревню. Но я все продолжал шагать, я и думать не мог об остановке; мы шли уже больше восьми часов, но я, по-видимому, обрел второе дыхание. Один из двух моих спутников отстал, я оказался наедине с Бабу и арфами. Теперь уже не только жара спала — укротилась и необузданная ярость света, лившегося между ветвями деревьев.

Бабу вдруг сел подле тропинки и сменил рубаху. Он расплылся в смущенной, обаятельной улыбке: мы приближались к поселку, нужно было привести себя в порядок; так поступает и обладатель сезонного билета — подъезжая к Сити, он подтягивает галстук. По мере того как меркнул свет, лес наполнялся шорохами; такой ли уж он мертвый, каким казался, спрашивал я себя и поневоле подумал, что если впереди идущему угрожает змея, то идущему позади надо остерегаться леопарда: говорят, что леопарды всегда бросаются человеку на спину. В конце зеленого туннеля, по которому мы двигались, на фоне неба появились очертания еще одной деревни; небо совсем посерело, хижины казались такими темными, что я внезапно понял, как близка ночь. Следовало бы здесь остановиться, но деревушка была совсем маленькая — не больше тридцати хижин, разбросанных на растрескавшемся от зноя пригорке. Крыши хижин провалились; навстречу нам выбежало с лаем несколько мерзких собачонок с оттопыренными, как у летучих мышей, ушами; у самого обрыва сидели, сортируя хлопковые семена, три покрытые шрамами нагие и грязные старухи, как три замызганные богини судьбы. Прямо под ними уходил вниз крутой обрыв. Казалось, они замерли на грани жизни и смерти. Я сомневался, чтобы в такой деревушке нашлось достаточно риса для моих людей.

Под самым холмом ровно и тускло поблескивала в вечернем свете широкая река. Это была Лоффа, она впадает в океан милях в тридцати к северу от Монровии. Ни одна из рек Либерии не нанесена на карту на всем своем протяжении, от истоков в горах Французской Гвинеи до устья; их верховья обозначены на карте британ-

ского военного министерства весьма приблизительно пунктирными линиями. Большой частью они низвергаются водопадами милях в пятидесяти от побережья и, следовательно, для судоходства непригодны; впрочем, даже в здешних местах в спокойном верхнем течении эти реки вовсе не используются местным населением; одинокие челноки, которые здесь попадаются, служат только для переправы, да и те можно увидеть главным образом на французской стороне. Казалось бы, что берега этих рек должны быть усеяны деревьями, но на самом деле они текут по диким, совершенно необитаемым чащам, и только в нескольких днях пути от Берега картина меняется.

В тот вечер мы пересекли Лоффу по длинному висячему мосту. Он представлял собой прелестное архитектурное сооружение: семьдесят ярдов сплетенной из лиан циновки сбегало с платформы, укрепленной на дереве в пятнадцати футах от земли, проходило в десяти ярдах над водой и взбегало на другое дерево на противоположной стороне реки. Ширина моста достигала всего лишь фута, но справа и слева на высоте плеча были протянуты перила из лиан. В некоторых местах мост прохудился, и приходилось перепрыгивать через дыры, меж тем как все сооружение раскачивалось, точно веревочная лестница.

На середине моста стоял Марк с курицей в руках. Марк устал, проголодался и совсем раскис. Он, видно, и шагу больше не мог ступить. Зато Ама, который целый день нес груз и был в пути больше двенадцати часов, казался бодрым и свежим. Ама поджидал Марка на той стороне реки. Он сбросил одежду и остался в одной набедренной повязке. Вот он схватил мой тяжелый чемодан и одним рывком поднял его себе на голову, словно еще только начинал дневной переход. Когда дело не ладилось, Ама был выше всяких похвал; он дулся и ворчал только в день отдыха или после короткого перехода. Теперь его забавляло, что я их догнал, и, поднимаясь по тропинке на том берегу Лоффы, он смеялся и болтал на языке банде.

Мы увидели, наконец, Дуогобмаи — силуэты хижин, темневших на вершине пологого глинистого склона. В воздухе был разлит странный розовый свет, он окрашивал высокие жилища термитов, выстроившиеся вдоль

тропы. Казалось, его никак не могло излучать темнеющее небо. Он придавал какой-то неправдоподобный марсианский вид всему ландшафту — термитным кучам, красной глине, черным хижинам Дуогобмаи. Из хижин выбегали люди, глядя во все глаза на наше внезапное появление из сумеречного леса.

Было уже темно, когда мы поднялись в поселок и стали пробираться между хижинами в поисках вождя. Дуогобмаи выглядел очень древним и очень грязным. Своей теснотой и перенаселенностью он напоминал английский город в эпоху Тюдоров; края соломенных крыш соприкасались, надо было нагнуться, чтобы пройти между хижинами, и эти узкие проходы то и дело загоразживали бледно-желтые коровы, похожие на джерсейских, с изогнутыми рогами; они стояли с потеряннным видом в собственном навозе, окруженные курами, собаками, маленькими свирепыми кошками и козами.

Вождь оказался человеком средних лет с толстыми губами и хитрыми глазками. Он сидел в гамаке перед своей хижинкой. Трудно было судить, расположен он к нам или нет. Он сидел как изваяние, слушая, что говорит Ама, а тот просил у него хижин и еды на тридцать человек. Вождь был тугодум, наше неожиданное появление его озадачило. Уже много лет он не видел белого лица. Я все еще полагал, что нахожусь в том самом Дагомаи, куда меня направил врач; но вождь сказал — нет, здесь не появлялся ни один белый с тех самых пор, как начали платить налог на хижины, а это было так давно, что и не упомнить. По-своему этот тугодум только радовался: наш приход был для него таким же событием, как для европейца приезд бродячего цирка. Он послал людей вычистить для нас хижину.

Стало совсем темно: ночь была безлунной. Между хижинами мелькали черные фигуры с факелами, но веселые огоньки освещали только убожество и грязь. Приплелось несколько носильщиков, они сразу же опустились на землю рядом со своим грузом, уронив голову на руки. Тут уже не могло быть и речи о том, что они валяют дурака: они совсем выбились из сил. Ама повел меня в хижину, которую отвели нам с братом, — маленькую круглую хижину с глиняной лежанкой у стены; здесь с трудом могли уместиться две койки. На полу стоял фонарь вождя (единственный фонарь на всю деревню),

и уборщики усердно поднимали пыль, которая тучами повисала в воздухе, а затем оседала снова; посреди хижины лежала куча золы. Кто-то принес ящик, я сел на него и стал ждать. Тревога не покидала меня: я представить себе не мог, как брат и носильщики пройдут в темноте по длинному висячему мосту, минуя многочисленные дыры в тех местах, где лианы прохудились. Я послал Ама с фонарем караулить у реки, а сам сидел в темноте, прислушиваясь, как над головой начинают шуршать крысы. Так я и задремал, а часом позже меня разбудили голоса; между хижинами мелькнул фонарь, и показалась кучка вконец измученных людей. Амеду ворвался ураганом, хлеща прутом по ногам всех, кто оказался в хижине: он все еще никак не мог привыкнуть к тому, что больше не находится на территории Британской империи. Он был измучен и не помнил себя от ярости: половина носильщиков остановилась в деревне по ту сторону Лоффы, отказавшись идти в темноте через мост. У нас не было ни постелей, ни москитных сеток, ни фонарей, ни факелов, ни пищи, и — самое скверное при той убийственной жаре, которая стояла в хижине, — у нас не было фильтра.

Старый повар Сури появился на пороге в своей черной феске и изодранном ветками белом балахоне. В одной руке он держал курицу, в другой нож.

— Где кухня? Где кухня? — повторял он.

Ни убожество поселка, ни десятичасовой переход — ничто не смогло охладить всепоглощающей страсти старика.

Нам оставалось только повесить гамаки и пролежать в них всю ночь напролет, не раздеваясь, завернувшись в одеяла, чтобы уберечься от москитов. Пока Амеду и Ама готовили ночлег, мы, спотыкаясь в темноте, вышли из деревни облегчиться. Фонаря у нас не было, мы то и дело теряли дорогу в лабиринте хижин, одни только искры светляков мелькали в непроглядном мраке ночи.

И вдруг я испытал странное ощущение довольства, беззаботности, свободы. Ну уж хуже, чем в Дугобмаи, мне нигде быть не может! До сих пор я боялся этого первозданного края, хотел свыкнуться с ним постепенно, но вот он разом нас обступил, когда мы, спотыкаясь, брели по кучам навоза мимо тесных и душных хижин к погруженному в темноту ночлегу, кишмя ки-

шашему крысами. Ничто не могло быть хуже, но даже и это оказалось терпимым, постольку поскольку приходилось мириться с неизбежностью. Только одно меня слегка беспокоило: после проведенной без сеток ночи нас обоих могла свалить лихорадка — как раз тогда, когда мы будем одинаково далеко и от Болахуна, и от Монровии; к счастью, хинин был у нас с собой, на этом берегу Лoffы.

Но не было фильтра, значит не было и воды для питья; лежать, укрывшись поверх одежды одеялом, было ужасно жарко. Брат проявил благоразумие и стойко переносил жажду, но в этой деревне все равно так легко было заболеть, что я решил рискнуть и осушил две грязные фляги пальмового вина. Затем пришлось перейти на чистое виски. Хижина оказалась слишком мала, чтобы можно было растянуть гамаки во всю длину; мы устроились в них сидя, беспомощно ожидая нашествия крыс. Где-то под крышей билась летучая мышь, и, прежде чем погас фонарь, я заметил, что на стене притаилось несколько огромных тараканов.

И тут счастье нам улыбнулось. Словно судьба просто полюбопытствовала, как мы отнесемся к ее ударам. Откуда ни возьмись, появились носильщики; их шествие замыкал скаливший зубы радостный и гордый Ванде. Каким-то образом ему удалось уговорить остальных перебраться в этом крошечном мраке через реку, и вот они возникли перед нами с койками, сетками, продовольствием и фильтром; дойдя до нашей хижины, они бросились на землю, не в силах даже роптать. Итак, в конце концов сетки надежно защитили нас от всех и всяческих бед — от мух, жужжавших всю ночь напролет, от москитов, тараканов и крыс. Но заснуть все же было не так-то легко. У порога вокруг фонарей сидели за трапезой носильщики, и, по мере того как к ним возвращались силы, все отчетливей слышался голос Альфреда, сеявшего среди них смуту. Как только их фонари погасли, нагрянули крысы. Они нагрянули скопом, низвергаясь со стен целыми потоками. Всю ночь они резвились среди наших ящиков, а снаружи коровы обнюхивали стены и мочились с превеликим шумом. Тропическая блоха, которая въелась мне под ноготь, немилосердно жгла палец ноги. А в шестом часу утра деревня уже бодрствовала.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА ЗЕМЛЕ ПЛЕМЕНИ БУЗИ

ГИБЛОЕ МЕСТО



Я несколько не был удивлен, когда на следующее утро носильщики забастовали и потребовали отдыха. Они утверждали, что до Никобузу целый день ходу. Я послал за вождем, переводчиком служил Марк. Вождь сказал, что Никобузу отсюда в семи часах ходьбы; он лгал, а может быть, лгал Марк. Но я уже раз поспорил с носильщиками и оказался неправ. Они мне больше не верили, им казалось, что я нарочно их извожу, и я сразу же принял их требование, чтобы вернуть утраченное доверие. Но на это понадобилось куда больше одного дня. Они были как дети, уличившие взрослого в обмане.

Сам бы я ни за что не сделал дневку в Дуогобмаи. Это было поистине гиблое место. Я записал у себя в дневнике: «Между хижинами бродит женщина, подбирает руками коровий и козий помет; дети в лишаях; в пыли у порога Сури готовит пищу, под ногами у него

вертятся щенные суки и щенки — хвосты колесом, уши как у летучих мышей; повсюду тощие курицы; пыль забивает глотку. Крыши налезают одна на другую. Руки в чернильном карандаше. Бумага отсырела. Куча неприятностей с носильщиками».

В тесноте жавшихся друг к другу хижин и так уж впору было задохнуться, а тут еще целый день вокруг нас толпилась вся деревня. В Дугобмаи никогда не видели белых так близко. Я не мог вынуть носового платка без того, чтобы кругом не вытягивались шеи, не мог взяться за карандаш без того, чтобы любопытные, которых интересовало каждое наше движение, не устремлялись вперед, отталкивая друг друга. Они так напряженно нас разглядывали, что это действовало на нервы. К тому же они выставляли напоказ следы всевозможных болезней. Мне повсюду стали мерещиться болезни; самая пыль, которую мы вдыхали, вызывала раздражение гортани и, казалось, кишела микробами; я не мог забыть, откуда поднялась эта пыль — с навозных куч, с собак, с человеческих язв.

Лишь несколько женщин нарушало однообразие деревни. Взрослые были разукрашены искусной гравировкой, сделанной в лесной школе, — гравировка, точно металлические пластинки, покрывала им грудь и живот. Была тут еще девочка в гюрбане с раскосыми восточными глазами и маленькими крепкими грудями; грязная как черт, она бы, наверно, приглянулась любому европейцу. Но по местным представлениям она была гораздо менее привлекательна, чем деревенская красотка, которая целый день разглядывала себя в осколок зеркала, — девица с пышными ягодицами и вымазанными белой краской грудями, свисавшими до самого пояса. Обилие голых тел наводило на мысль о том, как мало людей можно видеть нагими, испытывая при этом хоть немного удовольствия.

В поселке Дугобмаи было что-то низменное, не внушавшее доверия, даже не говоря о здешней грязи. На всем пути до земель племени баса, где коренное население подверглось разлагающему влиянию «береговой» цивилизации, Дугобмаи был единственным местом, в котором я так и не нашел, чем полюбоваться. Вождь оказался мусульманином, но не успел я достать бутылку виски, как он уже появился с дарами — пальмовым ви-

ном и яйцами; вино прокисло, а яйца протухли. Я налил ему полстакана неразбавленного виски, и он выпил его единым духом, как лимонад, после чего поплелся в свою хижину. Два яйца преподнес славный и совсем ветхий старик с жидкими седыми волосами, заплетенными в косицы; выяснилось, что он самый старый житель Дуогобмаи и владелец отведенной нам хижины; он объяснил через Марка, что не претендует на ответный дар. Зато он уселся на пол рядом со мной (наградой ему явилось боковое место в партере) и стал наслаждаться зрелищем белого человека — пишущего, пьющего воду, кашляющего, вытирающего пот с лица.

Я дал старику глоток виски, хмель немедленно ударил ему в голову. Не успел он оторвать стакана от губ, как уже зашатался и захихикал в старческом опьянении. Он попробовал закурить папиросу, но дым попал ему в глаза. Старик был похож на увядшее растение, которое попытались оживить спиртом: растение начинает распускаться, его лепестки вздрагивают, но уже через миг спирт выдыхается, и растение становится мертвее прежнего.

Когда мы обедали, снова появился вождь, он решил представить нам своего брата, младшего лейтенанта пограничных войск Либерии; в его деревне нам предстояло побывать на следующий день. Это был неотесанный дитина в меховой шапке, украшенной металлическим флажком Либерии. Обоих, несомненно, привлекло виски, и я их угостил, после чего вождь на весь остаток дня удалился в свою хижину.

Он был совершенно прав: здесь оставалось только пить. Но напиться было трудно: алкоголь тут же испарялся через поры. Я все еще боялся крыс; мне хотелось заснуть покрепче, но пить для этой цели оказалось бесполезно, и большую часть ночи я проваливался с открытыми глазами, прислушиваясь к тому, как крысиное племя низвергается со стен и мечется по ящикам. Я уже постиг: нельзя ходить босиком по земляному полу — подцепишь тропическую блоху; теперь я узнал, что все, не уложенное на ночь в ящики, уничтожается либо тараканами, либо крысами. Они пожирают все подряд: рубашки, носки, головные щетки, шнурки от ботинок.

К крысам и в самом деле привыкаешь не сразу. Утверждают, что даже в крупнейших городах Англии крыс не меньше, чем людей, но там крысы ведут подпольный образ жизни. Вряд ли вы вообще увидите там крысу, если только не спуститесь в канализационную сеть или не побываете на огромных свалках за пределами жилых кварталов. Стоя посреди площади Пикадилли *, нелегко себе представить, что на каждого прохожего тут приходится по крысе.

Крысы пугливые создания; мне хоть и приходилось теперь спать в их обществе и слушать всю ночь их возню, я так и не увидел ни одной воочию, пока мы не очутились в Ганте, где они были посмелее и не дожидались темноты. Зажгите карманный фонарик — они ускользнут от его луча; оставьте лампу на столе — они будут играть и резвиться в темных углах **.

Я хорошо помнил первую живую крысу, которую мне довелось увидеть. Как-то раз в Париже я вернулся со своим братом из театра; мы жили в известной гостинице на левом берегу Сены возле Люксембургского дворца. Было около часу ночи; брат поднимался по лестнице впереди меня, а за ним по пятам ковыляла крыса величиной с маленького кролика. Я не верил своим глазам: эти изящно обставленные залы, богачи, наехавшие со всех концов света, — и вдруг крыса! Но я совершенно ясно разглядел грубую коричневую шерсть на ее шее. Вероятно, это вышла на разведку одна из двухмиллионной армии парижских крыс. Ее появление носило злобный и словно предумышленный характер. Я подумал о первых немецких уланах, появляющихся на проселочной дороге в Бельгии.

Следующая крыса, которую я видел, была дохлой. Я снял домик в Глостершире, жить там было жутковато. Что-то шуршало по ночам под кровлей. Я подозревал, что это крысы: крестьяне устраивали облавы на крыс у изгороди в глубине моего сада. Крысолов в ста-

* Площадь в центре Лондона.

** Может быть, городские крысы смелее. В 1942 г. во Фритауне я часто лежал без сна под москитной сеткой, наблюдая, как они стремглав проносятся по моему туалетному столику или раскачиваются на шторах затемнения. — *Прим. автора* (1946).

рых армейских штанах, который и сам чем-то смахивал на крысу и, как утверждали злые языки, уморил голодом свою первую жену, явился ко мне с ручными хорьками; они ползали по крыше, поднимаясь у трубы на задние лапы, как крохотные медведи; один из них не мог удержаться на скате и все время падал вниз, пока хозяин не сунул его обратно в мешок. Крысолов заявил, что в доме нет никаких крыс, и отказался от денег. У него была своя профессиональная гордость, он не признавал иной оплаты, кроме сдельной — по шиллингу с крысиной головы. Но в тот же вечер раздался стук в дверь. На пороге стояла крестьянка, она держала в руках дохлую крысу, по которой так и прыгали блохи.

— Я думала, вам, может, захочется поглядеть на крысу, — сказала она. — Мы поймали у изгороди двадцать штук, — и она поднесла крысиный труп поближе к лампе.

Страх перед крысами в конце концов не так уж безрассуден. Допустим, что бояться мошек, птиц и летучих мышей — дело нервов; но страх перед крысами имеет разумную основу. Ганс Цинзер пишет: «Крысы — переносчики болезней человека и животных: чумы, тифа, трихинеллы, содоки, желтушно-геморрагического лептоспироза, по всей вероятности, траншейной лихорадки, ящура и конского «гриппа»... Случалось, что крысы объедали уши и носы младенцам в колыбели; однажды голодные крысы сожрали человека, спустившегося в заброшенную шахту». Мысль о том, что в Англии сорок миллионов крыс, меня нисколько не утешала; воспоминания об одной-единственной крысе, которую монахиня в Болахуне нашла у себя на подушке, было вполне достаточно, чтобы отогнать всякий сон.

И вот, лежа с открытыми глазами и прислушиваясь к крысиным играм на наших ящиках, я поневоле вспоминал список здешних болезней, с которыми ознакомился еще в Англии: проказа, фрамбезия, оспа... Я не сомневался, что с любой из них можно встретиться в Дуогобмаи, и меня нисколько не успокаивало, что проказа едва ли заразна и что вообще ни одна из этих болезней не передается через блох, гнездящихся в крысиной шкуре. У меня было такое ощущение, точно самая пыль в этом тесном грязном поселке не менее заразна, чем блохи.

И все же, несмотря на страх и раздражение, меня не покидало необычайное чувство легкости и свободы. Мне было радостно и хорошо: ведь я переступил рубеж поистине удивительного края, проник в самое его сердце.

ЗЕМЛЯ ПЛЕМЕНИ БУЗИ

Если за все время путешествия нам редко приходилось так плохо, как в Дуогобмаи, то столь же редко нам бывало так хорошо, как в Никобузу; туда мы попали на следующий день, после легкого и приятного перехода, продолжавшегося всего часа три. Альфред вернулся домой, он понял, что наше путешествие не увеселительная прогулка. Вместо него Ванде нанял приятеля Бабу, по имени Гуава, тоже из племени бузи. Это была настоящая находка: не успел Дуогобмаи скрыться за деревьями, как Гуава уже заставил петь всех носильщиков. Он пел и приплясывал, приплясывал даже тогда, когда нес гамак или ящик; голос его разносился по всей колонне — он затягивал импровизированную песню, которую остальные подхватывали, повторяли, продолжали. Они пели о своих нанимателях, высмеивали их характер и повадки; деревня, через которую с песней проходили наши люди, узнавала всю историю моего путешествия. Иногда к хору присоединялся и кто-нибудь из местных жителей: он задавал вопрос, и я улавливал, как вопрос этот передается по всей цепочке носильщиков, вплетается в бесконечный напев и находит ответ.

Не доходя до Никобузу, мы встретили младшего лейтенанта; он дожидался нас возле своей деревни и повел к себе в хижину, а брат его принес нам в подарок большого петуха и дюжину яиц. Младший лейтенант вынул свое оружие — длинное копье в кожаном футляре с кожаной, обшитой мехом рукоятью и саблю; эфес сабли был украшен козьей шкурой. Он показал приказ о производстве его в офицерское звание, а также письмо начальника, хвалившего его за храбрость и удостоверившего, что, несмотря на неграмотность, которая мешает ему изучать новые уставы, он все же примерно выполняет свой долг как в мирное, так и в военное время. Младший лейтенант рассказал, что сражался с племенами гребо и кру, а в его привычке поглаживать саблю

сквозила молодая наивная необузданность — он гордился, что может убивать и приносить смерть.

Никобузу оказался чистеньким маленьким поселком; хижины стояли на большом расстоянии одна от другой; вождь был стар, гостеприимен и нелюбопытен. Он преподнес нам курицу и корзину рису, удостоверился, что отведенная нам хижина прибрана, а затем улегся в свой гамак, укрывшись от полуденного солнца под тень навеса; мы с братом выкупались в жестяной ванне, и нам вырезали тропических блох из пальцев на ногах.

Из всех поселков, которые мы видели, Никобузу наилучший образец культуры племени бузи. Женщины носят кольца — простые, гладкие с печаткой, кольца из бус и витые, под пару к браслетам. У ткачей работы по горло, каждый предмет кустарной выработки отличается здесь простотой и изяществом. В Никобузу люди довольны жизнью, этого духа довольства мы не нашли на следующий день в Зигите. Зигита — главный поселок племени бузи, где красив даже самый простой нож для рубки кустарника, но жизнь там безрадостна. Зигита характерна для племени бузи в другом отношении — там царствуют страхи и колдовство.

В тот вечер при свете звезд женщины Никобузу плясали перед нами под звуки трещоток. В пляске не было ничего привлекательного, в танцовщицах — тоже, просто несколько тощих старух хлопали себя по впалым ягодицам в каком-то подобии чарльстона. Но они веселились от души, да и мы тоже веселились, потягивая теплую кипяченую воду с виски и лимонным соком, и глядя, как они шлепают себя по заду, размахивают трещотками, смеются и скачут, мы впервые ощутили, что такое не наблюдающая времени беспечность Африки.

Нелегко было понять, как может за грязью и болезнями скрываться такое очарование, но это было не только мое личное впечатление, каприз моего вкуса. В различные эпохи тот или иной континент оказывал различное воздействие на человечество, но люди во все времена осуждали завоевателей за жадность к золоту и чужим владениям, пытаясь облечь в слова свою смутную тягу к нетронутым краям, «еще сохраняющим девственную чистоту, не ведающим нашествия и разграбления, где поля еще не затоптаны, а соль земли не смешана с навозом, могилы не осквернены поисками зо-

лота, а недра не долбила кирка, где кумиры еще не низвергнуты и не выброшены из храмов»*.

Старухи с язвами на груди и серебряными стрелами в волосах плясали и веселились. Недра Нигерии долбила кирка; кирка стучала и в Сьерра-Леоне. На севере, на западе, на востоке властвовал закон; здесь же царили беззаконие и произвол, зато лес оставался лесом, его не смогли обезобразить несколько жалких ям, вырытых белыми золотоискателями. Крутые тропы, которые вели в Зигиту, так и сверкали слюдой, но недра края оставались нетронутыми, и уж во всяком случае кумиры не были низвергнуты и выброшены из храмов.

В последнем мы убедились в Зигите, главном поселке племени бузи, куда мы добирались тропами до того крутыми, что почти не приходилось нагибаться, цепляясь руками за отвесный склон. Президент мог сколько угодно разглагольствовать об автомобильных дорогах, сеть которых покрывает всю республику, теперь мы видели, что за трудности стоят перед ним. Он позабыл об этих тропах, а возможно, никогда не ходил ими; между тем Альфред Шарп относит переход до Зигиты, расположенной в пяти с половиной часах от Никобузу, к числу самых трудных в Африке. Зигита раскинулась на высоком плато, окруженном лесами и горами. Поселок лежит примерно на высоте двух тысяч футов над уровнем моря; к северо-западу от него поднимается еще на тысячу футов почти отвесный пик Онагизи, он служит убежищем злым духам. Лишь с одной стороны не нависают над Зигитой леса и горы, и в грозные ночи по окрестным вершинам пробегают молнии, опоясывая поселок кольцом зеленых вспышек.

«ВЕЛИКИЙ ДЬЯВОЛ ЛЕСОВ»

В Зигите легко поверить, что в племени бузи есть люди, которые умеют вызывать с небес молнии. Научиться этому искусству — примерно то же, что окончить аспирантуру, пройдя начальный курс в лесной школе; молнии — мужское дело, женщина может избрать темой диссертации ядосмесительство. Лет шесть назад старый слепой вождь Зигиты потерял жену. Она сбежала к че-

* Из «Антологии печали» Томаса Броуна.

ловеку помоложе, а когда вождь прислал к нему за установленным выкупом, тех уже и след простыл. Вина их заключалась именно в этом бегстве, в отказе уплатить положенный выкуп, а не в нарушении супружеской верности. Через год вождь отправился на совещание, созванное президентом Кингом в Монровии. Там он узнал, что молодая пара с ребенком живет в столице. Вождь был человек терпеливый и снова послал к ним за выкупом. Когда же молодой человек ответил отказом, вождь, состоявший в Обществе Молнии, метнул в него молнию, которая поразила хижину, убив мужчину и женщину, но оставила невредимым спавшего между ними ребенка. Все в Либерии, как черные, так и белые, одинаково верят в эту историю. Я слышал ее из нескольких уст и всегда с одними и теми же подробностями. Старого вождя я так и не повидал — он как раз отправился в Воиньему на встречу с президентом.

В Зигите находится резиденция окружного комиссара; обнесенный оградой участок, где стоит его дом, расположен на склоне горы, господствующей над поселком; внизу растянулись крытые соломой островерхие хижины, напоминающие сметанные в копны бобовые стебли. Внутри ограды отвели хижину и мне; сюда вождь поселка привел кучку людей с мечами, кинжалами и украшениями на продажу; вождь был человек молодой и с виду очень запуганный. Им помыкал писарь окружного комиссара (сам комиссар тоже отправился в Воиньему); впрочем, хоть вождь и плясал под дудку окружного комиссара, над тем в свою очередь стояло еще более высокое, хоть и более таинственное начальство: «Великий дьявол лесов» — «гроссмейстер Лесного братства», по выражению доктора Вестермана. Один вид его приносит непосвященному смерть или по крайней мере слепоту; его не следует путать с теми «дьяволами», которые плясали перед нами в шутовских масках и лишь возглавляли местные лесные школы. Пока мои носильщики поднимались по склону, я наблюдал, как жители поселка ставят забор вокруг новой хижины, выстроенной для «Великого дьявола лесов»; это была сила, правившая при помощи страха и яда и уже выжившая отсюда одного окружного комиссара, — обратная сторона бузийской медали, которой мы любовались сейчас, сидя на веранде вместе с вождем и писарем.

С продавцами торговались наши слуги. Браслеты и кинжалы шли за несколько шиллингов; меч с резной рукояткой из слоновой кости был куплен за восемь шиллингов у толстяка, важной своей внешностью напоминавшего восточного евнуха. Ламина, по мнению толстяка, бессовестно сбивал цену и вывел его из себя. Он знал несколько слов по-английски, говорил «да» и «нет», в его тоне сквозило что-то раболепное и вместе с тем злобное. Это был один из самых богатых людей в поселке. В тот же вечер, прогуливаясь, я повстречал его снова, и он захотел сфотографироваться.

— Где твоя хижина? — спросил я. — Я тебя сниму перед твоей хижинкой.

— Вот эта, — сказал толстяк, указывая на хижину, перед которой стоял черный бык. — Да. И эта. И эта. И эта, — тут он обвел жирным пальцем добрую половину поселка.

На следующий день Ламина, который помнил, как вывел из себя незнакомца, с ужасом узнал, что тот главный советник «дьявола».

Торг продолжался дотемна; самые красивые мечи и копья были принесены под конец; продавцы бесшумно проскальзывали за тростниковый занавес, который опускался в часы нашествия москитов, превращая веранду в небольшую комнату. По приказу вождя один из пришедших нехотя принес прекрасный меч в узорчатых кожаных ножнах; рукоять из слоновой кости была отделана медью. Он не собирался его продавать; он любил этот меч, ранее принадлежавший его отцу. Трогательно было видеть, как человек разрывается между привязанностью к этой вещи и жадной жаждой богатства, которое ему за нее сулили. Я поднял цену до двадцати двух шиллингов, и он чуть было не сдался. Такая сумма кормила бы его много месяцев, и хорошо кормила. Он откинул занавес и бросился вниз по склону, убегая от соблазна и унося свой меч. Вслед ему хохотали развалившиеся на веранде носильщики.

У нас царили патриархальные нравы. Только то помещение, где мы с братом спали, принадлежало нам одним безраздельно. Если же хижина имела веранду или вторую комнату, где мы ели, в них располагались и носильщики. Они укладывались на полу, в гамаках, дремали по углам. Считалось, что я всегда рад их видеть

и что даже за завтраком или обедом мне доставляет удовольствие заботиться о них, раздавая йод и слабительное. В Зигите вместе с продавцами к нам пришел прокаженный — он хотел, чтобы его исцелили, и молча протягивал гноящиеся руки. На лице его давно застыло покорное страдание, но он увидел, как носильщики получают от меня лекарства, и во мраке страдания, где он жил, зажглась искра надежды на чудо. Бессмысленно было убивать эту надежду, объясняя ему, что я ничем не могу помочь. Я дал ему несколько таблеток борной кислоты, велел растворить их в воде и делать ванночки для рук.

В половине седьмого, когда прокаженный и продавцы разошлись, тростниковый занавес снова приподнялся, и на веранде появился какой-то незнакомец. Фитиль фонаря был прикручен, чтобы уходило поменьше керосина; мы не могли понять, о чем с таким жаром вещает нам из полумрака этот человек. Позвали Марка. Оказалось, что «дьявол» повелевает всем жителям поселка сидеть по домам: запрещалось даже выглядывать в окна — «дьявол» собирался выйти из своей хижины.

Из кухни пришли слуги узнать, что случилось; незнакомец снова исчез в темноте, основательно их напугав. Я попробовал поделикатнее расспросить слуг; на душе стало тревожно при виде того, как притих испуганный Ламина, которого не мог заставить замолчать даже самый тяжкий переход. Он стоял передо мной в трусах, короткой белой куртке официанта, изодранной в лесной чаще, вязаной шапочке с красным помпоном и олицетворял глубочайшее уныние. Без всякого сомнения, он верил, что стоит нам только увидеть «дьявола» в окно — и все мы ослепнем. Предупреждение «дьявола» было передано носильщикам на кухню, и внезапно все голоса притихли — так меркнет пламя в фонаре, когда прикручивают фитиль. Было отчетливо слышно, как из Зигиты вверх по склону катится к нам тишина. Я выглянул из-за занавеса — кругом не было ни души; часовой, охранявший ворота, как в воду канул; в доме писаря были опущены шторы и закрыты ставни.

Я было начал:

— Неужели вы и в самом деле думаете, что если выйти?..

Они уставились на меня, стараясь угадать, не шучу ли я. Марк получил христианское воспитание, он избегал прямого ответа, стыдился своих страхов, но все же сказал, что, пожалуй, лучше не выходить. Амеду взволнованно и сбивчиво стал выкладывать историю, которая случилась в 1923 году за обедом у одного из окружных комиссаров в Сьерра-Леоне.

— Окружной комиссар он сиди здесь, его жена сиди там, мистер Троут сиди здесь, миссис Троут сиди там, а дьявол пройди посередке...

Он сказал, что если мы выйдем поглядеть на дьявола, тот наложит на весь поселок заклятие — такое заклятие, какого не снимет потом ни один белый. Слуги поспешили укрыться в комнатах и опустили москитные занавеси на окнах; убрав посуду, они устроились затем вместе с носильщиками на кухне за закрытыми ставнями; сквозь щели в стене мы видели отсвет фонаря на полу и тени притихших людей.

Но естественная потребность сильнее всего, и, взяв электрические фонарики, мы отправились на опушку леса. Поселок с двумя тысячами жителей словно вымер; мы видели только бледный серп молодого месяца, сияние звезд на небе да силуэты хижин с закрытыми ставнями. Не было еще и девяти часов; после Никобузу и Дуогобмаи, где музыка и пляски, смех и крики продолжались чуть не за полночь, это место нагоняло жуть. На обратном пути мы направили фонарики на поселок и осветили две человеческие фигуры, безмолвно стоявшие возле хижины «дьявола». Может быть, «дьявол» выслал дозорных, чтобы узнать, кто бродит по поселку и подглядывает за ним, — вернувшись, мы еще некоторое время слышали легкие шаги подле дома, а потом в пыли за оградой. А когда мы раздевались, над Зигитой раздалась «дьявольская» музыка — прерывистый бой барабана. Погасив фонари, мы приподняли занавеску в окне, выходящем на поселок, но не заметили ничего в той стороне, где стояла хижина «дьявола», — ничего, даже мерцания огонька. В ту ночь мы испытали страх: дверей в домах не было, а сквозь тростниковый занавес к нам мог забраться всякий, кому не лень. Я чуть было не вынул из денежного ящика и не зарядил револьвер; меня удержала только боязнь показаться смешным.

Я надеялся, что к утру атмосфера очистится. Предстоял день отдыха, которого с таким нетерпением ожидали носильщики, но никаких признаков оживления они не обнаруживали. Сбившись в отведенных нам помещениях, они избегали показываться в поселке. Марк сказал, что Зигита плохое место — здесь сражаются ядом, а не мечами, и я с некоторым беспокойством подумал о том, как легко было бы «дьяволу» отравить пищу носильщиков, чтобы проучить недоверчивых белых людей. В горах то и дело гремел гром, двое носильщиков жаловались на головную боль, один — на расстройство желудка, и я отправил в лютеранскую миссию в Зорзоре посыльного с сообщением, что мы придем на следующий день, хотя сперва собирался провести еще сутки в Зигите. Все утро продолжалось строительство ограды вокруг новой хижины «дьявола»; по склону горы потянулась цепочка женщин с ведрами, они носили из реки воду, чтобы размочить твердый, как камень, грунт. Там стоял шум, как на футбольном матче; временами доносились крики восторга, словно забили гол. На веранду поднялся советник «дьявола», он попросил керосину, и Ламина, не остановив его вовремя, отлил бы ему львиную долю наших запасов.

Мы снова получили предупреждение, что «дьявол» собирается выйти из хижины. Как только забьет барабан, никто пусть носа за порог не показывает. Злобный толстяк принес всякий хлам на продажу, а я, все еще не подозревая, кто он такой, стал дразнить его у ворот. Вместе с ним пришел маленький старичок с седой козлиной бородкой, который хотел продать какую-то сумку из невыделанной кожи. Толстяк то и дело повторял свое «да» и «нет».

— А почему это я не могу взглянуть на вашего «дьявола»? — спросил я.

Толстяк двусмысленно засмеялся, а Ламина дернул меня за рукав. Он уже знал, кем был толстяк, и перепугался насмерть. Тот повернулся и заметил его испуг. Он шумно возликовал, в его маленьких, заплывших жиром глазках не было и тени шутки.

— Хочешь посмотреть «дьявола», а? — сказал он, хватая Ламину за локоть, и добавил что-то на своем языке.

Когда Ламина удалось вырваться, он слова не мог

выговорить от страха. Толстяк, поведал он мне, был советником «дьявола», а старик с козлиной бородкой его знахарем. Советник как следует припугнул Ламину в отместку за торг при покупке меча: он сказал, что Ламина похитят, семь лет продержат в зарослях и силой заставят вступить в Лесное братство. В горах грохотал гром, молния рассекала тучи. К нам присоединился Амеду.

— Англия хорошее место,— сказал он,— один бог и нет дьяволов. У меня тоже один бог, но много-много дьяволов.

Амеду был мусульманином. Он принялся снова с самого начала рассказывать историю об английском окружном комиссаре. Ему хотелось объяснить, что даже втихомолку смеяться над «Великим дьяволом лесов» далеко не безопасно. «Дьявол» может обернуться невидимкой, а что если он стоит рядом и подслушивает?

Тут разверзлись хляби небесные; под громовые раскаты между небом и землей встала отвесная стена воды. Мы бросились под крышу. На веранде нас поджидал Марк; ему тоже хотелось убедить нас, что Зигита очень плохое место. Амеду в который уже раз принялся рассказывать про обед у окружного комиссара.

— Его жена сиди здесь, мистер Троут сиди там...

Окружной комиссар в шутку сказал, что хотел бы поглядеть на «дьявола», и «дьявол» немедленно прошел невидимкой сквозь обеденный стол, расколов его пополам... В окно мы видели человека, стоявшего в потоках дождя у хижины «дьявола», он прогонял грозу бичом из слоновой кожи, помахивая им в сторону нашего жилья и соседних гор. Больше двух часов простоял он так под дождем, щелкая бичом.

Гроза продолжалась весь вечер, вплоть до поздней ночи. Молнии и в самом деле миновали Зигиту, но горы и хижины то и дело озарялись зелеными вспышками; гром так и гулял по вершинам, а молнии штопором ввинчивались в лес. Из хижины «дьявола» не доносилось ни звука. Это была великолепная декорация для какого-нибудь сверхъестественного зрелища. Я обещал нашим слугам, что мы не станем выглядывать, но мы наблюдали за хижинной «дьявола» сквозь щели в ставне. Она то появлялась в зеленых вспышках зарниц, то снова исчезала; казалось, бурный вечер вот-вот увен-

чается достойной развязкой, но так ничего и не случилось. «Дьявол» не показывался, величественные приготовления природы явно затянулись, кульминация заставляла себя ждать, гроза надоела.

В эту ночь крысы скакали у меня по комнате, как большие кошки; они опрокидывали предметы и так расшумелись, что не давали заснуть, хоть и ухитрялись все время избегать луча моего фонарика. С грохотом упала жестянка, а потом я готов был поклясться, что упал и разбился вдребезги фонарь. Но странное дело, когда наступило утро, все стояло на своем месте, даже жестянка с бисквитами, упавшая с таким грохотом.

Да, в Зигите и в самом деле творилось что-то неладное. Там я прихворнул и потом чувствовал себя неважно до самого побережья. Дело не в том, что я поверил в силу «дьявола», но я верил в силу своего воображения. Зло, казалось, подстерегало вас здесь на каждом шагу, и это действовало на психику, а такое воздействие может повлиять на здоровье.

По-своему я был так же рад оставить Зигиту, как и носильщики. Как только мы выбрались из поселка, они затанули песню, и их не пришлось поторапливать на широкой дороге, которая вела на юг, в Зорзор. Сначала нас мягко окутал плотный густой туман, и мы ничего не могли разглядеть на расстоянии двадцати ярдов, когда же солнце его разогнало, мы извели на этой открытой, не защищенной никакой тенью дороге всю ярость Африки. Несмотря на тропический шлем, рассудок мутился, становилось дурно. Раз через дорогу медленно переползла, высоко подняв голову, красивая зеленая змейка; точно хозяйка великосветского салона с портрета Сарджента*, она гордо несла бюст навстречу травам, ядовитая и элегантная, похожая на драгоценное украшение от Фаберже**.

На всем протяжении широкого ущелья было единственное тенистое место; там мы остановились на обед, и там нас застал посыльный, которого я отправил в Зорзор; он принес записку, где было сказано, что нам готово пристанище в лютеранской миссии.

* Сарджент, Джон Зингер — англо-американский художник (1856—1925).

** Ювелирная фирма.

Я никак не ждал, что миссия, это всего-навсего опаленный солнцем клочок земли на пригорке против Зорзора; нас встретили пустые дома, безлюдье, пыльные растения и, наконец, толстая американка в белом шлеме и платье с зелеными цветами, туго облегавшем бедра; она медленно брела сквозь зной нам навстречу и плаксиво сообщила, что вот он, отведенный нам дом: мы увидели насквозь пропыленное бесформенное строение с обрывками москитных сеток на окнах, откуда несло гнилью. Женщина долго не могла найти ключи, и, заглянув в окно, я увидел пачки миссионерских брошюр на расшатанных столах и ряды сломанных фильтров вдоль стен, с которых облупилась краска.

— Видите, так вот и живу здесь,— простонала американка, бродя вокруг здания в поисках ключей, но прикусила язык, разглядев мои грязные трусы, покрытые пылью лицо и небритые щеки.

— Как, неужели вы здесь совсем одна? — переспросил я немного погодя, но она на этот раз не ответила, опасаясь, верно, за свое добро и за свою честь.

Если Дуогобмаи был самым грязным поселком во всей Либерии, Зорзор казался самым заброшенным ее уголком. Не то чтобы он был предоставлен самому себе — белые дошли сюда, но не двинулись дальше, они завязли здесь, нагромоздив кучу бумаг и религиозных реликвий: сентиментальных, наивных, обреченных на неудачу. Супруг миссис Кроуп утонул около Монровии, другой обитатель миссии свихнулся. Миссис Кроуп жила тут одна вот уже шесть месяцев. Я лицемерно бросил ей вдогонку какие-то слова о том, как приятно будет выспаться в настоящем доме после ночевки в деревенских хижинах.

— Да, мы хотя бы стараемся, чтобы не заводились клопы,— послышался в ответ ее плаксивый голос.

А все-таки она была женщина добросердечная, и даже плаксивость можно было ей извинить. На следующий день я заметил, что и сам говорю плаксивым голосом. Виной была жара. Не хватало сил договаривать слова до конца; голос у вас перехватывало, и, как в письме, написанном скверным почерком, после первого слога ничего нельзя было разобрать. Американка была

добра, отважна, практична и чудаковата. Она продала мне втридорога треснутый фонарь, валявшийся на складе миссии, но она же растила у себя в доме черного ребенка и держала в саду кобру. Кобре она ежедневно скармливала живую курицу; американке очень хотелось посмотреть, как кобра проглатывает курицу, но она так никогда и не удосужилась заглянуть в нужную минуту сквозь щель в крышке вольера.

Наша хозяйка обронила загадочную фразу:

— Я бы пригласила вас пообедать, но через полгода я уезжаю.

Понять это было тем труднее, что, услышав о нашем намерении завтра двинуться дальше, она заявила:

— Ах, если бы я знала, что вы так скоро уходите, я бы непременно пригласила вас к обеду.

В тот вечер я устроил у нее в доме совещание со своими людьми. Она посоветовала мне пересечь угол Французской Гвинеи, взяв направление на Ганту, и назначить первую стоянку в Бамакама. Как всегда, носильщики заявили, что это слишком далеко. Тогда я пошел к ней, захватив с собой Ама в качестве делегата от носильщиков, а за нами проскользнули в дверь Ванде и суровый молчаливый парень, который вечно следовал за ним по пятам. Они сидели на табуретках, ребенок ползал у них под ногами, а миссис Кроуп помещивала кочергой огонь в печке, и в крошечной комнате, увешанной фотографиями в простых деревянных рамках, было очень душно.

Но чем больше разглагольствовала миссис Кроуп, тем больше я сомневался, знает ли она что-нибудь об этой дороге. Она всегда путешествовала в специально приспособленном для ее веса гамаке, который ташили восемнадцать носильщиков. Миссис Кроуп их не жалела: десятичасовой переход она считала пустяком. В конце концов она послала за человеком, знавшим дорогу, но оказалось, что он никогда не бывал дальше Бамакама, да и туда добирался целых два дня; он думал, что кратчайший путь ведет через Джбайй, но не знал, можно ли там пройти — все зависело от того, удалось ли вождям починить мосты, снесенные последними ливнями. Я видел, как растет тревога носильщиков: они заподозрили, что я снова хочу их заставить сделать непосильный переход. Поэтому я им сказал, что мы отпра-

вимся на следующий день в Джбайй, а там узнаем дорогу на Бамакама; если окажется, что это слишком далеко, мы переночуем в Джбайй. Они сразу же согласились с какой-то подозрительной готовностью.

В эту ночь крыс не было, на нас накнулись только тараканы, готовые сожрать все, что можно было сожрать. Пока горел свет, тараканы неподвижно сидели на стенах, похожие на большие кровавые волдыри, но не успели мы его погасить, как они заматались быстрее ящериц. Сэр Гарри Джонстон, знакомый только с прибрежными районами Либерии и никогда, насколько мне известно, не заходивший в глубь страны дальше своей каучуковой плантации в Маунт-Барклей, неподалеку от Монровии, пишет, что эти тараканы «по-видимому, живут на мусорных свалках» в поселениях выходцев из Америки. На самом деле тараканов можно найти в Либерии повсюду. «По ночам,— продолжает сэр Гарри Джонстон,— эти насекомые не боятся нападать на людей. Они подползают к губам спящего и высасывают его слюну. Ногти на ногах они обгрызают до самого основания, но особенно их привлекают болячки и язвы... Как сообщает доктор Бюттикофер, однажды он спасся лишь тем, что расставил в спальне миски с рисом и сахаром, которые отвлекли тараканов... Пишущий эти строки испытал нечто подобное на грязных, неудобных пароходах, плававших много лет назад вдоль Западного Берега. Их трюмы кишмя кишели тараканами, и там, конечно, не было москитных сеток, чтобы защитить несчастного пассажира, который, проснувшись среди ночи в полной темноте, находил двух-трех огромных тараканов, припавших к его губам».

По мере того как я все больше уставал, а мое здоровье расшатывалось, Африка представлялась мне, пожалуй, именно в виде тараканов, пожиравших одежду, крыс на полу, пыли в глотке, тропических блох под ногтями, муравьев, впивающихся в кожу... Но теперь, когда оглядываюсь назад, даже тараканы кажутся мне лишь одним из признаков девственной нетронутости края, «не ведающего нашествия и разграбления». В Сьерра-Леоне на залитой электрическим светом Горной станции, сидя под вентилятором за бокалом ледяного коктейля, беспрестанно помнишь, что вокруг покоренная страна; даже в столице Либерии тебя не покидает чувство, что ты нахо-

дншсья в колонии, весьма ненадежной колонии, которая в любой момент может быть стерта с лица земли желтой лихорадкой. Белые и цветные — все они живут здесь как временные пришельцы, не пуская глубоких корней; последнее слово остается за Африкой, и она заявляет о себе — муравьями и крысами, а то и наступлением тропических лесов, которые проглатывают жалкие ямки, вырытые и брошенные голландскими золотоискателями. На свете осталось не так уж много нетронутых земель, чтобы не полюбить ту, которую ты наконец-то нашел.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЧЕРНЫЙ МОНПАРНАС

ЗАБАСТОВКА НОСИЛЬЩИКОВ

Наутро мы вступили во «Францию» — так зовут местные жители Французскую Гвинею. Не успели мы пуститься в путь, как один из носильщиков сказался больным, с ним расплатились и пошли без него. Носильщиков теперь у нас было в обрез. Мой двоюродный брат пользовался гамаком, для чего ему нужны были четверо носильщиков; я сократил их число до трех; сам я в гамаке не нуждался, если только мне не суждено было заболеть.

Места здесь были разительно французские, начиная с первой же деревни, в которой мы остановились, — кстати, она не звалась ни Бамакама, ни Джбайяй, как я того ожидал; тут пахло Францией и в смысле коммерции, и в смысле приманок, которые, казалось, были расставлены специально для туристов... если бы сюда

когда-нибудь попадали туристы. Просто удивительно, как не похожи земли по разные стороны невидимой границы. Эту страну вы ни за что не спутали бы с Либерией. Туристы чувствовали бы себя как дома среди круглых хижин и ярко-красных фесок торговцев из племени мандинго. Этих торговцев никак не отличишь (разве что достоинства у них побольше) от продавцов ковров в парижских кафе «Купол» или «Ротонда». Разница только в том, что к этим вы пришли домой, словно двигались за ними следом от самого бульвара Сен-Мишель, сходили в вагонах третьего класса, плыли в трюме и, наконец, проделали длинный путь верхом из Конакри.

Во «Франции» трудности с носильщиками достигли апогея. Их жалобы, причитания («слишком далеко», «слишком далеко») стали действовать мне на нервы. Я, кажется, предпочел бы, чтобы они бросили нас совсем, только бы не слышать эту непрерывную воркотню и уговоры двигаться медленнее, чем я мог себе позволить. Беда была в том, что я не знал, велика моя власть над ними или нет и кому из них я могу доверять. Ванде вызывал у меня подозрения; старшина со своей трубкой, суконной шапочкой и трещоткой был веселым проходимцем; мне казалось, что он зачастую дает носильщикам слишком много воли. Я верил Ама, потому что его недолюбливали остальные; я верил Бабу из племени бузи и его другу Гуава; мне казалось, что я могу доверять носильщику моего гамака Колиева, который всегда шел со мной рядом во главе отряда.

Но именно Колиева и сбил меня с толку в первый день нашего пребывания во «Франции». Мы сразу же пошли неверно; носильщики, по-видимому, поговорили в Зорзоре с местными жителями и решили, что дорога в Бамакаму через Джбайяй слишком длинна и трудна. Никто прежде и не слышал о поселке, в который мы пришли через два часа пути, когда пересекли верхнее течение реки Сент-Пол. Название его звучало вроде «Коинья». Он отличался от деревень Либерии каким-то подобием планировки. Хижины вождя и его жены находились в центре и были обнесены высокой изгородью, вокруг которой расположился поселок. Все это напоминало лагерь, раскинутый торговым караваном.

Ама перевел нам слова вождя. Оказалось, что до Бамакамы еще целый день пути, и он не уверен, расчи-

щены ли тропы, и восстановлены ли мосты после дождей. Это был человек, исполненный достоинства, ростом пониже, чем бывают обычно негры из племени мандинго, с черной бородой, в красной феске и просторной деревенской одежде; в его темных глазах, блескующих над горбатым носом, было что-то семитское. Волосы у мужчин в этой деревне были выстрижены причудливыми узорами и собраны в пучки; ничего подобного мне в Либерии еще не встречалось. Кое у кого голова была наголо выбрита, лишь на макушке и на затылке торчало по хохолку. Это придавало обладателю такой прически сходство с пуделем, а пудель, как известно, французская собака. Женщины Французской Гвинеи тоже старались не отставать от страны, которая славится самыми красивыми проститутками и самыми изящными публичными домами в мире: волосы их вокруг ушей были склеены в замысловатые завитки, похожие на часовые пружины; лицо раскрашено не только обычными белыми полосами, но и синькой, и охрой, а все вместе напоминало незаконченный портрет кисти современного художника.

Идти дальше, после того что сказал вождь, не было никакого смысла. Он пообещал дать нам завтра проводника и приказал подмести единственную в деревне четырехугольную хижину. Еще одна особенность французской колонии: в каждом поселке было нечто вроде заезжего двора для путешественников. Затея эта была бы еще счастливее, если бы путешественники заходили сюда почаще, а так эти заезжие дворы (обычно расположенные не как в Коинье, а чуть поодаль от поселка и окруженные изгородью) почти всегда приходили в полное запустение: дверь зарастала паутиной, крыша проваливалась, очаг лежал в развалинах, зола в нем давно застыла. Коинья была расположена достаточно далеко от обычных маршрутов французских колониальных чиновников, и местные жители пользовались заезжим двором сами, поэтому там было чисто и ухожено.

Едва мы устроились в хижине, как начался торг. Предметом купли и продажи было абсолютно все. Обмениваться дарами здесь не было принято. Преподнесение даров, хотя и стало удобным способом вымогать деньги, родилось из желания проявить любезность, ока-

зять гостеприимство, выразить щедрость — качества, совершенно чуждые душе современного мандинго. Весь мусор цивилизации был выкинут в эту деревню, словно гнилые водоросли, намытые волнами на прибрежный песок. Здесь можно было получить фаянсовые горшки и ведра, ножи, грубо отделанные сплавом серебра с медью, чтобы привлечь жадный до блеска глаз чужеземца. Даже обычный кривой нож, которым прочищают путь в зарослях, и тот был разукрашен; рукоятку покрывал сплав из наполеоновских монет, зато лезвие было тупо, как деревянное. Производить эти вещи мог заставить только голый торгашеский инстинкт (ведь белых путешественников здесь не видали и два раза за десять лет). А может быть, тут работала никому не ведомая фабрика, поставлявшая все эти безделушки на продажу в Конакри, Дакар и даже Париж, и мы наткнулись на промышленный центр, спрятанный в самом дальнем углу этой малоизвестной французской колонии.

Носильщики были в пути всего полдня, но они поели до выхода из Зорзора, и атмосфера была накаленной. Они дулись и не подходили к моей хижине, а Бабу и Ама громко и сердито с ними переругивались. Я уже больше не был патриархом для моих носильщиков, я стал для них дурным хозяином; у нас возникла вражда, которой надо было дать выход. Нервы у меня были натянуты из-за того, что я не знал, с какой жалобой они ко мне придут и когда это произойдет; но хуже всего было то, что я не мог выйти из себя, я должен был казаться веселым и внешне сохранять хорошее расположение духа, вместо того чтобы как следует их выругать.

После полудня я лег, но заснуть не мог. Перед заходом солнца, когда я обтирался губкой, стоя в жестяной ванне, в хижину вошел Амеду. Он заявил:

— Работники говорят, они хотят больше денег. Масса пусть говорит «нет».

Произнес он это тоном образцового камердинера. Он советовал, как держать себя во время бунта, с тем спокойствием и твердостью, с какими Дживс рекомендовал Берти Вустеру * надеть тот, а не иной галстук. Но

* Персонажи из юмористических романов английского писателя П. Г. Вудхауза.

иногда мне бывало трудно ему угодить: его положительность, честность и несокрушимая преданность требовали от меня в ответ слишком многого. Я должен был вести себя как надежный хозяин в том царственном смысле, в каком он понимал надежность. Он служил у окружающих комиссаров, и в сознании его не укладывалось, что можно обращаться с носильщиками иначе, чем начальственно. Когда в последнюю неделю нашего похода моральную слабость проявил даже Амеда, я почувствовал просто облегчение.

Мне не хотелось вылезать из ванны; меня смущало, что Амеда осудит мое поведение, если я уступлю, это было куда проще, хоть и роняло мое достоинство. Ведь в конце-то концов носильщики получают позорно мало. Мне пришлось все-таки выйти, сесть за стол, сделать вид, будто я пишу дневник. Я видел, что они наблюдают за мной и готовят мне удар. Я чувствовал себя, как муха, на которую нацелена хлопушка. Наконец, Колиева вышел вперед, и к нему один за другим присоединилось еще пятнадцать носильщиков. Я не думал, что Колиева будет среди них. Он был смущен, и это облегчало мое положение; вид у него был неестественно хмурый и чрезмерно заносчивый; толстая нижняя губа отвисла, он постукивал себя по ноге палкой и говорил хриплым голосом. Он один из бунтовщиков знал хоть несколько слов по-английски. Перебирая в уме забастовщиков, я подумал о том, что без них, если мне придется в каждом поселке нанимать новых носильщиков и платить им по официальной таксе, я не смогу совершить того, что задумал. Стоит им проявить твердость, взять расчет и бросить нас — и мы вынуждены будем двинуться через лес напрямик к Монровии. Но даже и на это у меня может не хватить денег. Если бы они только знали, что все козыри у них на руках!

Колиева заявил, что они желают со мной поговорить. Они хотят больше денег. Я сделал вид, будто не понимаю его. Я сказал, что согласен одолжить им понемногу денег в счет их жалования. Ванде уже взял шесть пенсов в Зигите. Сколько они хотят? Колиева смутился еще больше; он сказал, что официальная ставка носильщика шиллинг в день. Он, конечно, был совершенно прав: настоящей платой был шиллинг, хотя, по-моему, законно нанимать людей на долгий срок и за меньшую сумму;

к тому же никто в Либерии никогда не платит положенной ставки, не считая нескольких неудачливых путешественников, нанимавших носильщиков от одного поселения до другого. И уж во всяком случае этого не делают правительственные чиновники, которые обычно берут носильщиков совсем бесплатно.

Я сказал, что в официальную таксу не входит питание, а я их кормлю. Они не сумели мне возразить, что их пища обходится мне не больше, чем по два пенса в день на брата, и стояли кругом насупившись, в сущности говоря, вовсе не прислушиваясь к разговору. Стоило ли перечислять выгоды их положения? По правде сказать, все выгоды были на моей стороне; я их эксплуатировал, как и все другие хозяева; их нисколько бы не утешило, знай они, что я не в состоянии их не эксплуатировать и что я немножко этого стыжусь. Я делал вид, что растерян и не понимаю, чего они от меня хотят, мы ведь договорились... Я попросил позвать Ванде, и когда тот пришел, спросил его, о чем идет спор; Ванде объяснил, что они не соглашаются работать за три шиллинга в неделю.

Тут я попытался их припугнуть. У меня не было другого выхода. Они загнали меня в угол. На моей стороне были Бабу, Ама и, конечно, мои слуги; казалось, что с нами и Ванде — по тому, как он разговаривал с бунтовщиками; впрочем, я не понимал ни слова на языке банде. Я сказал:

— Объясни, что они могут идти домой. Я с ними расплачусь, но подарков они не получают, а я здесь найму новых носильщиков.

Он с ними поговорил, они на него покричали, казалось, все это никогда не кончится, но потом он улыбнулся. Он сказал:

— Они не хотят уйти.

Настал момент нанести удар посильнее. Заводилой у них, по-видимому, был Колиева; я приказал ему уйти. Я с ним расплачусь. А сам мечтал только об одном: как бы их удержать еще недели на две! Тогда они попадут в места, в такой же мере незнакомые им, как и мне; там уже им трудно будет бежать; мои люди не захотят получать расчет в таких местах. Но я победил: Колиева, пристыженно ухмыляясь, признал, что они были неправы, и через минуту все уже смеялись, шутили, как

будто между нами и не было никогда разногласий; они были точно дети, которые пытались выпросить лишний день каникул, но, получив отказ, ничуть не обиделись, потому что всерьез и не рассчитывали на успех. Спор этот разрядил атмосферу; еще два дня продолжались непрерывные стычки, которые совершенно выводили из себя, а потом внезапно все наладилось и пошло как по маслу.

Ванде спросил, можно ли им зарезать ягненка, которого мне подарили в Кпангбламай, и этот способ отпраздновать примирение показался мне как нельзя более подходящим. Я дал согласие, не ожидая, что заклание произойдет тут же, перед хижиной; но ягнечка распластали на земле, держа его за ноги, полоснули ножом по горлу, отчаянный крик захлебнулся в хлынувшей крови. Ягненок долго умирал, кровь струилась по земле, стояла лужицами на сухой, не впитывавшей ее глине, куда совсем стемнело и кто-то за оградой хижины вождя затряс трещоткой. Но до чего же хорошо было сознавать, что тебя не бросят!

БАМАКАМ

На следующий день дела наши пошли хуже. Мы отправились в семь часов утра, взяв в Коинье проводника, но тропа была тяжела для носильщиков, и они с моим двоюродным братом сильно от нас отстали. Мы шагали по лабиринту из узеньких тропок, пейзаж медленно менялся у нас на глазах: заросшие лесом холмы Либерии постепенно выравнивались в плоскогорье, покрытое слоновой травой высотой в два человеческих роста; это плоскогорье, по моему представлению, тянется на север к тем горам, которые Мунго Парк * назвал горами Конг, и дальше до реки Нигер. На одной из этих узеньких тропок мне повстречалась единственная лошадь, которую (не считая костлявой клячи во Фритауне) я видел в Западной Африке; на ней сидел старый мандинго в турбане, с белой бородой и глядел, как мы пробираемся сквозь траву. За ним шел мальчик и нес на голове все их имущество. По-видимому, старик ехал издалека, может быть даже из Сахары.

* Шотландский исследователь Африки (1771—1806).

Прошагав три с половиной часа, мы снова вышли к реке Сент-Пол, или к Диани, как называют ее верхнее течение. По берегам этой медленной реки, шириной в 70 ярдов, тянулись высокие деревья, укрывавшие ее своей тенью.

Природа красива тут только возле реки; чем дальше от воды, тем все вокруг становится суше, мертвее, какая уж там красота! А у реки повсюду чувствовалось какое-то движение, глубина и блеск; освежала и мысль, что этот небыстрый, могучий поток течет вниз, к цели нашего путешествия, хотя и более коротким путем; через двести с чем-то миль, миновав огромные леса, он выйдет на равнину, к поросшим мангровыми деревьями болотам под Монровией.

Паром перевез нас на другой берег; это был плот, связанный из стволов деревьев; его тянули канатом из лиан. Со мной были Амеду, Ама и еще человек десять носильщиков; остальные отстали вместе с моим двоюродным братом. Прошло полчаса, и я заволновался, но мое волнение нельзя было сравнить с тревогой Амеду. В Сьерра-Леоне Папаша приказал ему о нас заботиться и носа без нас не показывать во Фритаун. Он чувствовал всю тяжесть лежавшей на нем ответственности. Амеду беспокойно расхаживал по высокому берегу реки и кричал отставшим, но звук терялся сразу же в чаще деревьев. Если они заблудились, мы ничем не могли этому помочь, да и положение брата было куда лучше нашего. С ним были Ламина, повар и Ванде, постели и москитные сетки, большая часть провианта и больше половины носильщиков. Я не знал, как мне быть, ведь гоняться друг за другом по всей Французской Гвинее бессмысленно. Я решил идти вперед, тогда как мой двоюродный брат, как я узнал позже, решил возвращаться назад.

И тут, когда я был готов дать приказ двигаться дальше, опасаясь, как бы сумерки не застигли нас в этих зарослях, из-за огромных деревьев по ту сторону реки послышался ответный зов, и вскоре к нам присоединилась группа усталых, обозленных людей. Среди множества тропинок, которые надо было закрыть листьями, одна осталась открытой, и они пошли по ней. Тропа сузилась и почти пропала, но они продолжали идти. Ламина расчищал дорогу своим ножом, но вот они уткну-

лись в непроходимую зеленую стену и поняли, что заблудились. В таких густых зарослях легко заблудиться даже в миле от какой-нибудь деревни, а тут их могли отделять от ближайшего поселения не одна, а десять миль. Если бы не река, я бы не знал, что они заблудились, и пошел прямо на Бамакаму, а если бы Ламина не встретил человека, который проводил их до реки (редкая удача, если вспомнить, что они отклонились от главной тропы), мы бы так больше и не встретились: ведь брат не знал, по какой дороге я решил идти, переправившись через Сент-Пол.

Еще четыре часа ходу по узким извилистым тропкам сквозь густую слоновую траву — и мы прибыли в Бамакаму. За деревней, на небольшом огороженном участке, помещался заезжий двор, но он пришел в страшное запустение, в хижине было полно насекомых, и стоило нам сесть пить чай, как сюда слетелись тучи мух и облепили пищу и наши лица. В углу хныкала, как ребенок, обезьяна, а когда солнце зашло и мухи разлетелись, появились майские жуки и стали биться о стены. Под полом сдохла крыса, и весь участок провонял падалью. Мы опять попали в такое место, где оставалось только напиться. С завистью смотрели мы за ограду, на продуваемую свежим ветерком деревню. Мы же были загнаны, как прокаженные, в этот загон с дохлой крысой и майскими жуками.

И снова начались неизбежные споры с носильщиками. В этот вечер источником неприятностей были водоносы. Воду для мытья и для фильтра приносили ежедневно из ближайшего ручья. Депутацию возглавил Колиева. Мне трудно было понять, о чем идет речь; по видимому, племенная рознь расколола носильщиков на две враждебные группы. Они жаловались, если не ошибаюсь, на то, что помощник старосты Ама потакает носильщикам из племени банде и те не желают носить воду, хотя пришла их очередь. Депутация требовала, чтобы Ама был отрешен от своей должности. Ссора тянулась бесконечно, и я был рад, что сейчас немножко пьян. Спал я плохо; после тяжелого перехода и долгой перепалки нервы у меня были напряжены, и я вспомнил, что говорил мне Папаша в Сьерра-Леоне. Всю ночь мне казалось, будто на лицо мне падают пиявки. На самом же деле обваливалась штукатурка с потолка

этого необычайного приюта для путешественников, который разрушали крысы. Я слишком много выпил и не мог сообразить, что от пиявок меня защищает москитная сетка.

ГАЛАЙ

Вонь от дохлой крысы и тараканы, которые забрались в нашу одежду и проели ее до дыр, рано выгнали нас из Бамакамы. Я стремился во что бы то ни стало попасть в Ганту. Миссис Кроуп утверждала, что до Ганты три дня пути, но вождь в Бамакаме считал, что от его деревни остается еще три дня ходу. Казалось, что цель наша не приближается, а удаляется; никто в Бамакаме толком не знал туда дороги, потому что Ганта была уже в другой стране — в Либерии, и хотя купцы из племени мандинго не признают никаких границ (поле их деятельности простирается от Тимбукту до Берега и дальше, до самого Парижа, через пустыню и лесные заросли), негры из местных деревень редко отдаляются от своего поселка больше чем на день ходьбы. Граница между странами, равно как и между племенами, может представлять собой всего лишь крошечный ручеек, который носильщики переходят вброд в целом облаке бабочек, однако граница эта не становится менее четкой оттого, что здесь нет, как в Европе, колючей проволоки и таможен.

Вождь подвязал к поясу меч и вызвался быть нашим проводником. Я был рад, что он сразу взял быстрый темп: если мы вообще рассчитывали попасть когда-нибудь в Ганту, нельзя было ни минуты задерживаться в деревнях на пути. Я пообещал носильщикам короткий трехчасовой переход, но боялся, что потеряю всякое терпение, если в каждом поселке придется уговаривать их идти дальше. Поэтому мы бежали впереди — вождь, я и Колиева, предоставив моему двоюродному брату и остальным следовать за нами; я знал, что у носильщиков не хватит решимости отстать и задержаться где-нибудь без меня.

Нам понадобилось ровно три часа, чтобы попасть в Галай, людный маленький поселок с развалинами глиняных стен на заднем плане — они выглядели словно старинные декорации. Заезжий двор здесь был в таком

состоянии, что я не захотел в нем останавливаться и выбрал вместо этого хижину в самом поселке. Жители были очень гостеприимны; мало кто из людей помоложе видел раньше белого человека, и весь день они толпились в дверях нашей хижины, не сводя с нас глаз и внимательно наблюдая за всем, что мы делаем; стоило вытащить из кармана платок, как они с любопытством вытягивали шею. Такое внимание чуть-чуть раздражало; и тем не менее насколько благоразумнее они себя ведут, чем белые, когда те видят что-нибудь необычное. Ведь все, что мы делали, казалось им цирковым представлением, однако они не превращали нас в посмешище и не пытались запереть в клетку. Носильщики, немножко поспорив о том, чья очередь таскать воду, были веселы и довольны, но теперь я уже знал, как непрочно их хорошее настроение. Чувства их были переменчивы, как апрельский день. Но здесь и они наслаждались поистине галльским развлечением: девушки в Галае вели себя с чужими куда свободнее, чем в каком бы то ни было другом месте; особенно одна из них, которая, когда спустилась мгла и на сцене появились барабаны и арфы, стала плясать рядом с моими носильщиками, притоптывая, выпятив зад и растопырив локти в какой-то пародии на страсть. Когда танцор нравился зрителям, они собирались вокруг и гладили ему руки и лоб — странные фамильярные «осязательные» аплодисменты.

Танцевали несколько часов, собравшись в тесный жаркий круг перед нашей хижинкой. Близились полнолуние, ночной свет становился все ярче и действовал на людей возбуждающе. В этом тоже раскрывалась душа Африки: мертвенность того, что нам кажется живым, — природы, деревьев, кустарников и цветов, одушевленность того, что мы считаем мертвым, — застывших кратеров луны. Носильщики ощущали власть луны, свое с нею сродство, которое было нам недоступно. В Галае лунный свет уже струился по их жилам, и даже Амеду, вдруг забыв о своем достоинстве, ворвался в круг и принялся плясать с каким-то самозабвением. Но самым жутким из танцоров был слабоумный карлик. Его втокнули в хоровод вместе с двумя мальчуганами года по три, но ростом ничуть не ниже его, и под стук трещотки он замотал своей раздутой головой, похожей на пузырь,

который вот-вот лопнет, а потом завыл и заплакал, умоляя, чтобы его отпустили.

Играла музыка, я лежал в постели, прислонив к москитной сетке моего Бёртона так, чтобы свет фонаря хоть немного освещал страницу дешёвенького издания. Обложка до того отсырела, будто книгу забыли в росистой траве. В глаза мне бросилось слово *nigra* *, а слух невольно ловил топот ног и выкрики, которых я не понимал. И, читая строчки Кальпурния Грека **, я внезапно почувствовал непреодолимую тоску о привычном, тягу к цветам, к росе, к аромату полей. Так трудно было представить себе, что все это существует на этой же самой планете, что на свете есть нежность и сожаление, которых не выразишь звуками первобытной арфы, барабана и трещотки, колыханием бедер и черных сосков.

Te sine, vae misero mihi, lilia nigra videntur,
Pallentesque rosae, nec dulce rubens hyacinthus,
Nullos nec myrtus nec laurus spirat odores ***.

Я погасил свет и стал вслушиваться в ночную кутерму, но когда она кончилась, а деревенские жители расползлись по своим хижинам и притворили двери, по стенам низверглась такая лавина крыс, что мне пришлось зажечь фонарик. Темные тени неслись с потолка вниз; но я предусмотрительно не закрывал двери, и крысы выбежали наружу. Я остался наедине с ночью.

МЕРТВЫЙ ЛЕС

Настал одиннадцатый день пути; мы опять вступили в чашу, плохо представляя себе, где проведем будущую ночь. Но я твердо решил заночевать, пройдя не менее пятнадцати миль к ускользящей от нас Ганте. Перелистывая мой дневник, я нахожу первое признание в усталости и притом скорее психической, чем телесной. Ганта, которая, по моим расчетам, должна была находиться в

* Черная (лат.).

** Тит Кальпурний Грек (I или III в. н. э.) — римский буколический поэт.

*** Горе мне! Без тебя становится лилия черной,
Розы бледнеют в саду, гиацинты теряют румянец,
И ни лавр, ни мирт благовонным дыханьем не дышат.

(лит. Перев. С. Маркиша).

двух днях пути от Зорзора, все время как будто отдалялась от нас. Я давно отвык мерить время часами, но все еще упорно делил его на день и ночь, не признаваясь, что в Африке можно счастливо жить только тогда, когда перестаешь считать не только дни, но и недели, и месяцы. Вождь в Галае сказал мне, что до Ганты еще три дня пути, а только пройдя Ганту, мы сможем двинуться на юг. С каждым переходом мы все дальше уходили от побережья.

Я не хочу сказать, что мне наскучила африканская деревня, хотя здесь, во Французской Гвинее, ее естественность и гостеприимство были чуть-чуть подпорчены господством белого человека; однако пробуждение в темноте, торопливый завтрак, семичасовой переход по узким тропинкам среди душного и сырого, как оранжерея, леса, высокой стеной стоявшего и справа, и слева, позволяя лишь изредка увидеть над головой клочок неба,— весь этот неизменный порядок дня становился невыносимым. Почти всегда я был наедине с носильщиком или проводником, не говорившим по-английски, потому что ни Марк, ни Амеду не могли за мной угнаться, и я тщетно старался занять свои мысли, придумать, о чем бы мне подумать. Я все время высчитывал: буду думать о таком-то месте или о таком-то человеке столько-то сотен шагов и торжествовал, если мне удавалось растянуть эту тему на несколько десятков шагов больше, чем я загадал. Но обычно бывало наоборот: образ или идея теряли для меня всякий интерес куда раньше, чем я успевал сделать положенную сотню шагов. И такое непрерывное течение мыслей надо было поддерживать шесть-семь часов кряду. Я вспоминаю, как долго мне удавалось думать о лимонаде — куда упорнее и томительнее, чем о пиве или коктейлях. Мое пищеварение видно страдало от консервов, плохо очищенного риса, сухой, жилистой африканской курятины и полудесятка яиц в день. Ибо единственным способом растянуть подольше наши таявшие запасы консервов было питание местными продуктами: рисом, яйцами и курами; это мы и ели утром, днем и вечером.

Если бы окрестные леса таили опасности, длинные переходы легче было бы выносить. Редкая обезьяна, одна-две змеи, хлопанье невидимых тяжелых крыльев над головой и муравьи, муравьи повсюду,— вот и все,

что оживляло этот мертвый лес. Слово «лес» всегда пробуждало во мне образ, полный дикости и красоты, какую-то действенную силу природы, но здесь лес был попросту зеленым хаосом, да к тому же еще не очень зеленым. Мы шли по тропинкам шириной в фут, вдоль бесконечных зарослей спутанных лиан; они, казалось, не столько растут, сколько увядают; вокруг нас не было ни красивых видов, ни разнообразия ландшафта, ничего, что могло бы порадовать глаз, а если бы и было, нам бы все равно не удалось этим насладиться: приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о корень или о камни. Каждый ручеек, пересекавший тропу, нас радовал и приносил нам развлечение. Носильщики перетаскивали нас через ручей на спине: опасно замочить ноги даже в самой мелкой воде — там водится гвинейский глист, которого купцы племени мандинго занесли из Сахары. Мы давно перестали замечать, как пахнут носильщики; думаю, что и наш собственный запах стал достаточно дурным; боясь глистов, мы не купались в реках, как это делали носильщики. Гвинейский глист проникает в тело через любую трещину или ранку на ноге и добирается до колена. Когда после этого окунаешь ногу в воду, глист через ранку мечет свои яйца. Единственное спасение, если поблизости нет доктора, — это поймать его похожий на нитку кончик и намотать всего целиком на спичку. Если при этом глист разорвется, нога начнет гноиться.

Не удивительно, что все чувства притуплялись и мы испытывали лишь невыразимую скуку. Наверно, и в этом лесу была своя красота, но глаз давно перестал воспринимать прекрасное. Он больше не замечал ни огромных, хвостатых, как ласточки, бабочек, которые тучами поднимались у наших ног на берегах ручьев, ни черных муравьев, впивавшихся в тело.

Может быть, либерийские дебри своей мертвенностью отличаются от других лесов Африки; многие путешественники, побывавшие в других частях континента, жалуются на шум и жестокую борьбу за существование, царящие там в лесах. Человек может сродниться почти со всем, что живет вокруг него, перенести на любое живое существо свое чувство нежности, тоски по родине, жалости, так, что зачастую об этих чувствах острее всего ему напоминает природа. Очертания цветущей изгороди где-

нибудь в Центральной Англии, ковер из опавшей листвы где-нибудь в лесу — как часто человеку кажется, что все это пробуждает в нем чувство, которое кто-то здесь уже испытал до него. Но никто никогда не испытывал в этом лесу никаких человеческих чувств. Словно остов недостроенного дома на брошенном участке, он так и остался необитаемым.

В эти дни меня странно пленяли стихи А. Э. Хаусмена:

Не говори, я знаю сам,
О чем волшебница играет,
Когда сентябрьский косят луг
И белый цвет летает в мае.
Мы с ней знакомы так давно.
Я все ее повадки знаю *.

Они казались мне чередой сладких звуков на незнакомом языке и напоминали, как не похожа эта природа на ту, что я знал прежде. Я хранил это стихотворение про запас на то время, когда мне уже совсем не о чем было думать, и тогда медленно повторял его себе, прикидывая одновременно, прошел ли я сто метров между первой и последней строкой, или нет.

Стихотворение потеряло всякий смысл: разве можно помышлять здесь о природе, как о волшебнице, по которой тоскует душа? Это было бы таким же безумием, как лелеять засохший цветок в горшке.

И, покрытая тенью,
Колоннада лесов
Зашепчет и станет моею **.

— писал Хаусмен, чувствуя вместе с Уордсвортом и другими английскими бардами природы, что она нечто одушевленное, чем можно обладать, как обладаешь другом или возлюбленной. Однако здешний лес никогда никому не принадлежал. Пожалуй, я был неправ, называя его мертвым, ведь он никогда не был живым.

В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ДОЖДЕМ

Вождь из Галая был нашим проводником на пути от плоскогорья обратно в лес, он нарядился для этого случая в черный фрак и зеленый берет; сзади шел один из

* Перевод Б. Слуцкого.

** Перевод Б. Слуцкого.

телохранителей и нес его меч. В большой деревне Пала нам сказали, что следующий поселок называется Бамоу и до него еще далеко, мы никак не доберемся туда раньше шести, а вышли мы в семь часов утра. Остановиться на ночлег до Бамоу было негде. Люди наши стали ворчать, как только мы вошли в Палу, и я понял, что мне предстоит выслушать немало сердитых жалоб. Но останавливаться в Пале не хотелось (это надолго бы задержало наш приход в Ганту), поэтому я не стал дожидаться остальных — собравшись все вместе, носильщики непременно заявили бы протест — и двинулся дальше, взяв с собой проводника, людей, которые несли мой гамак, и Амеду.

Мы шли больше трех часов, не встречая на пути ни единой деревушки, а тропа была настолько широкой, что солнце безнаказанно жгло нас всюю; для того чтобы пообедать в тени, пришлось мечами расчистить лужайку. Но в деревушке, которая нам попалась по дороге, я, к своему облегчению, узнал, что до большого поселка не больше полутора часов. Вождь деревни был очень приветлив, вынес моим носильщикам фляги с пальмовым вином, и я не сразу заметил, что он не подал мне руки. Только тогда, когда я сам протянул ему руку и он нехотя ее взял, я заметил, что рука его покрыта белыми язвами. Может быть, это и не была проказа, и в любом случае проказа совсем не так уж заразна, но я все же целый день ничего не мог взять в рот.

Я так и не узнал названия того поселка, куда мы, наконец, попали. Это не мог быть Бамоу, потому что мы, по всей видимости, сбились с пути. Здесь тоже был заезжий двор за тесной оградой сразу же за поселком. Сердитый и неприветливый вождь не позволил сварить еду носильщикам и не дал им заночевать в деревне. Он заявил, что с ними хлопот не оберешься. Я купил у него рис по самой дорогой цене, какую мне приходилось платить, и он ушел от нас со своим советником и небольшой свитой недовольных старейшин.

В воздухе пахло грозой. Носильщики чувствовали ее приближение, лежа на веранде. Я сидел и прислушивался к обрывкам их разговора, но как раз перед закатом, когда гроза, наконец, разразилась, крики и звуки рожков заставили всех нас подбежать к изгороди. Из деревни к нашей хижине двигалась целая процессия. Ее возглавлял

какой-то человек со старым охотничьим ружьем за спиной, позади двигался крытый гамак, который несли четверо носильщиков, по сторонам бежали слуги, один из них дудел в рожок. Я подумал, что это по меньшей мере французский комиссар, и надеялся, что он не вздумает проверять мои бумаги — ведь у меня не было визы, разрешавшей мне транзит через французскую колонию. Но из гамака вышел и зашагал к воротам отнюдь не французский комиссар. Это был негр с крупными завитками волос на голове и черными бакенбардами; в руке он держал стек, по пятам за ним бежала собака. На нем был старый тропический шлем, пестрый шотландский джемпер, бриджи с помочами и поясом, гетры и узкие белые лайковые сапожки. Он стоял, помахивая стеклом и разглядывая нас, словно диких зверей в клетке, с вызывающим высокомерием. Кто-то объяснил, что это вождь из Джиеке — следующего поселка по дороге в Ганту. Он не говорил ни по-английски, ни по-французски, но когда я спросил его через Ама, далеко ли до Джиеке, и объяснил, что хочу попасть туда на следующий день, в ответ я, конечно, услышал: «Слишком далеко». Это мало было похоже на правду: солнце уже село, и сам он вряд ли собирался ночевать в лесу. Насмотревшись на нас досыта, он прошествовал к своему гамаку и под пение рожка был унесен назад в лесную чащу.

Вскоре после наступления темноты разразилась сильная буря: молния так и сверкала, освещая все вокруг. Носильщики спали на полу веранды. Их дыхание и храп помогли нам избежать чувства одиночества в эту грохотавшую электрическими разрядами ночь и отпугивали крыс. Буря меня тревожила. Сезон дождей должен был начаться только через месяц, но иногда он наступал раньше срока. Плохи будут наши дела, если дожди достигнут нас в глубине страны: в низине за Гантой дороги в этот сезон непроходимы; вся центральная Либерия превращается в сплошное болото, а мы еще и не думали сворачивать на юг.

КАФЕ-БАР

И вдруг со свойственной Африке непоследовательностью Ганта оказалась совсем близко, и мы покинули Французскую Гвинею. Напоследок колония показалась

нам еще более французской, чем прежде. Всего два часа пути, и, к нашему удивлению, мы очутились в Джиеке и увидели чистенькую школу, огороженную забором, с вывеской на воротах: «Ecole de Djiecke» *.

Из ворот школы навстречу нам вышел низенький суетливый негр в тропическом шлеме, европейском костюме и пенсне. Он был очень самонадеян и полон любопытства; друг друга мы не понимали, хотя оба говорили по-французски. Выяснив, что мы англичане, он отнесся к нам с величайшей подозрительностью. Он спросил, откуда мы идем, и когда я сказал, что из Сьерра-Леоне, решил, что я вру. Его представления о географии, видно, были очень туманны, он не представлял себе, что из Сьерра-Леоне можно попасть в Гвинею сушей. Он желал знать, из какого кантона мы пришли, но я понятия не имел, что такое кантон. Мне казалось, что кантоны бывают только в Швейцарии.

С каждым вопросом он становился все чиновнее, раздражительнее и заносчивее. Мои неуверенные ответы почему-то заставили его заподозрить, что я иностранный шпион. Он заявил, что мы должны явиться к французскому окружному комиссару — до его резиденции был целый день пути. Учитель оказался человеком опасным; если у него была какая-нибудь власть в поселке, он мог задержать нас надолго. Поэтому я был с ним вежлив, наверно слишком вежлив: я ответил, что не смогу повидать окружного комиссара, мне надо двигаться дальше; раз мы попали, наконец, в Джиеке, Ганта должна быть совсем рядом! Я видел, как его тощее черное тело раздувается от важности — ведь он олицетворял здесь могущество Франции. Он потребовал наши паспорта, порывшись в вещах, я их нашел и показал ему слово «Франция» в списке стран, которые мне разрешалось посетить. Не думаю, чтобы это его удовлетворило, он был умнее, чем я рассчитывал, но в этот миг нас как нельзя более кстати прервали. Мы стояли рядом с хижинной вождя, и от него явился посланный с приглашением войти и передохнуть, пока для наших людей варится каша. Хлебнув французского бюрократизма, нам предстояло отведать французского гостеприимства.

Вождь снял нелепое европейское облачение и был

* «Школа Джиеке» (франц.).

сурово красив в своей туземной одежде; он сидел поджав ноги на полу, окруженный своими дочерьми и женами. Дочери его были самые хорошенькие женщины, каких я встречал в Африке. Они лежали вокруг него и на нем, как котята. Учитель ушел, всем своим видом выражая неудовольствие: в хижине царила праздная, чувственная атмосфера, которая возмущала его душу педагога; однако вскоре какой-то мальчик принес от него письмо, написанное по-французски, и одна из дочерей вождя перевела его отцу. По-моему, учитель просил вождя нас задержать; нам все труднее и труднее становилось отсюда выбраться. Впрочем, в душе я и не очень стремился уйти, особенно после того, как вождь достал бутылку французского белого вина, эмалированную кружку и коробку французских сигарет. Все это было как сон: едва мы вступили во Французскую Гвинею, как сердца наши повлекло назад, к Дакару, к его кафе, цветам и, как теперь нам казалось, к его пленительной свежести, хотя чума в этом городе никогда не прекращается, а местные жители мрут оттого, что у них иссякла воля к жизни. В пути я порой мучил себя воспоминаниями о Дакаре, полоща рот теплой профильтрованной водой (фрукты у нас давно кончились), но не смел и мечтать о вине.

И вот она, эта бутылка вина прямо передо мной. Вождь мрачно сидел на полу среди девушек, и только еле заметная складочка у губ выдавала его торжество; он налил теплое, сладкое чудесное вино в эмалированную кружку. Отпив, он передал кружку мне; сделав глоток, я отдал кружку своему двоюродному брату. Потом чаша вернулась опять к вождю и была наполнена снова. Втроем мы скоро опорожнили бутылку. И сразу же захмелели; этому помогала и духота тесной хижины, и веселая возня полуобнаженных девушек. Так как обещанной каши для моих носильщиков все еще не было видно, я велел мальчику достать из моего ящика бутылку виски. Вождь никогда еще не пробовал виски, но у него было врожденное чутье: он не стал пить спирт залпом, как это делал вождь в Дуогобмаи. Он послал дочь за водой, когда та принесла ведро, отец сперва ее понюхал. Вода показалась ему негодной, и, вылив ее на землю, он приказал дочери принести свежей. Потом он начал пить, не поднимаясь с пола, пришел в мрачно-веселое настроение и насильно поил виски свою любимую дочь, пока та тоже не опьянела.

Мы широко улыбались друг другу и обменивались дружескими жестами.

Любимая дочь знала несколько слов по-английски; ее бедро, обнажившееся под туго обтянутой вокруг талии повязкой, казалось мягким и бархатистым, как шерстка котенка; у нее была красивая грудь; вся она была очень чистенькая, куда чище нас. Вождь хотел, чтобы мы остались ночевать, и я стал раздумывать о том, как далеко зайдет его гостеприимство. Девушку чуть-чуть мутило от виски, но она не переставала улыбаться. В хижину вошел мальчик лет шестнадцати и встал на колени перед отцом. Он оттолкнул от себя виски, пить ему не хотелось, и старался уговорить отца больше не пить тоже. Принеся бутылку, он убедил вождя слить в нее все, что было не допито, и сохранить это впрок.

Обстановка все больше напоминала парижский притон: вино, едкий дым французского табака, все большая фамильярность с человеком, которого ты не понимаешь, не зная его языка. Ты встретился с ним в каком-то баре на Монпарнасе, вы уже давно угощаете друга; ты говоришь по-английски, а он по-французски, и понять ничего невозможно. Вокруг толпа девушек, с которыми он, видно, знаком, а ты непрочь переспать, но тебе лень, потому что вино отличное и жалко расстаться с дорогим другом, который сидит рядом у стойки. Он тут знает всех и каждого, ты — ни души; но на сердце у тебя легко.

Мы пробыли в этой хижине два часа, досидев до полуденной жары; носильщики в конце концов получили свою еду, а вождя стало клонить ко сну, и он забыл, что ему не следовало нас отпускать. Я до сих пор не пойму, почему мы оттуда так быстро ушли; единственным темным пятном там был учитель. Быть может, если бы я чуть-чуть не опьянел, мы бы и заночевали, но охота жить по расписанию, с которой я как будто расстался, вдруг ко мне вернулась в этой парижской обстановке; к тому же меня немножко беспокоило, как бы учитель не послал срочного курьера к французскому окружному комиссару и мы не очутились под замком: во французских колониях очень следят за порядком. Поэтому я и не захотел остаться. Перед уходом я сфотографировал девушку, но она отказалась сниматься в затрапезном виде и надела свое лучшее платье; вождь фотографироваться не пожелал. К этому времени его уже приходилось поддерживать

двоим приближенным. Он проводил нас немного и, с трудом шевеля языком, уговаривал остаться, пока мы не отошли так далеко, что его уже не было слышно.

До Ганты нужно было идти еще четыре часа. Вскоре за Джиеке лес кончился, и мы двинулись по тропинке, проложенной в слоновой траве к реке Мано или Сент-Джон, которая образует границу между Французской Гвинеей и Либерией и течет сто шестьдесят миль на юго-запад к морю, впадая в него у Гран-Басы. Там суждено было окончиться нашему походу, хотя тогда я этого еще не знал. Мы наконец-то отклонились от маршрута, по которому шли другие английские путешественники: Альфред Шарп в 1919 году вступил во Французскую Гвинею севернее на девяносто миль, а потом вернулся назад и двинулся к Монровии где-то между реками Лоффа и Сент-Пол.

Река Мано здесь шириной около сорока ярдов, с крутыми берегами. Мы переплыли ее в выдолбленных челноках, и на том берегу у носильщиков сразу поднялось настроение. Им не нравилось во «Франции», радость Марка, который прыгнул на берег с обезьянкой, вцепившейся ему в волосы, их заразила.

— Ну, теперь мы опять на своей земле! — кричал он.

Такой прилив патриотизма был для меня неожиданным, ведь их родное племя осталось далеко позади; они вступили на землю племени мано, где, как они говорили, до сих пор отмечались случаи ритуального людоедства, жертвами которого были чужеземцы. Ама бегал вдоль цепочки носильщиков, не снимая с головы груза, и уговаривал их прибавить шагу потому, что здесь уже была Либерия.

Путь в Ганту вел по лабиринту извилистых тропок, мимо множества ловушек для леопардов, между стенами переплетенных лиан, а потом по утоптанной широкой дороге, мимо беспорядочно разбросанных хижин, через широкую равнину, на которой не росло ни единого дерева. Мы поднялись на холм, а потом спустились с него; над выбеленной оградой развевался либерийский флаг, а кругом было столько людей, сколько мы не встречали уже много недель, среди них торговцы из племени мандинго и солдаты. Были тут и лавки (первые увиденные нами в Либерии) с товарами, разложенными прямо на земле; но вид у поселка был кочевой, как у ярмарки. Казалось,

все это выстроили на скорую руку только вчера, а завтра перенесут в другое место. Дело в том, что поселок лежал на равнине. Мы привыкли к деревням, прилепившимся к холму, с могильными камнями и домом совета старейшин посредине; они выглядели такими же древними, как сама вершина холма или потрескавшаяся от зноя земля. Постройки, лентой вытянувшиеся вдоль дороги, имели здесь какой-то незавершенный вид. Только резиденция окружного комиссара на одном краю поселка и несколько зданий миссии на другом, в миле друг от друга, имели оседлый вид, и верилось, что ближайшие дожди не смоят их до основания.

Когда наш караван свернул с речной тропинки от ловушек для леопардов на дорогу, на нас воззрилась группа желтолицых либерийцев в европейских костюмах — скорее похожих на итальянцев, чем на уроженцев Африки. Только у одного из них кожа была темная; он вежливо приподнял свой пробковый шлем. Позднее, в Тапи-Та, я познакомился с ним поближе, взгляделся в его добрые, грустные, влажные глаза, словно только что потерявшие друга. Звали его Уордсворт. Он тоскливо смотрел, как мы ползем по голой, выжженной дороге к методистской миссии, и словно сам напрашивался в ту странную коллекцию «типов», которую подбираешь на протяжении жизни, — колоритных, забавных людей, прямодушных настолько, что они всегда повернуты к тебе одной и той же стороной, обреченных своей непосредственностью стать пищей для романиста (правда, в качестве одного из эпизодических персонажей), быть без конца осмеянным и населить целый вымышленный мир.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИССИЯ

ДОЛИНА

Никто не сумел так прочно внушить людям представление о ханже-священнике, подавившем в себе всякие человеческие чувства, как Сомерсет Моэм. Когда-то «Открытое письмо» Стивенсона подарило нам отца Дамьена, но «Ливень» навсегда запечатлел для нас образ миссионера мистера Дэвидсона, который говорил о своей работе на островах Тихого океана: «Когда мы туда приехали, у людей совершенно не было чувства греха. Они нарушали все заповеди подряд, не подозревая, что творят зло. И самое трудное в моей работе, как мне кажется, было внушить туземцам чувство греха». Это был тот самый мистер Дэвидсон, который сошелся с проституткой Сэди Томпсон, а потом покончил с собой.

Я помню, что в школе мне трудно было примирить это общепринятое представление о миссионерах с худыми,

усталыми людьми, которые, стоя на кафедре, постукивали указкой, в то время, как по экрану скользили тощие тела черных детишек. Они казались мне куда менее библейскими, чем мистер Дэвидсон; их, по-видимому, больше волновало получение нескольких шиллингов на содержание своей уродливой, обитой жестью церквушки, которую, стараясь разжалобить нас, тоже показывали на экране, нежели чувство греха. Чувство греха гнезилось гораздо ближе — по эту сторону алтаря школьной церкви. Тут было сколько угодно и ханжества и сластолюбия. Гости из Африки казались мне невинными младенцами по сравнению не только с моими учителями, но и с теми неграми, которых они просвещали. Они стояли там на кафедре, изможденные и обтрепанные, наивно упрашивая пожертвовать несколько шиллингов на новый покров для алтаря или серебряную дароносицу; мне не верилось, чтобы они причиняли так уж много вреда тайным обществам Аллигаторов и Леопардов или могли растлить тех, кто тайком приносит детей в жертву огромному питону.

В Либерии я узнал другой тип миссионера. Не думаю, чтобы доктор Харли (врач и методистский миссионер) был единственным в своем роде на всю Африку. Этот человек, измотанный душой и телом после десяти лет подвижнического труда, выпускал гной из раздутых, воспаленных половых органов, делал прививки от фрамбезии, смазывал язвы, принимал по двести больных венерическими болезнями в неделю. Он обосновался в этом уголке Либерии со своей женой и двумя детьми — странными желтолицыми маленькими старичками; третьего ребенка он похоронил здесь же, в миссии*.

Слухи о докторе Харли доносились до меня, когда я шел вдоль границы Либерии; это был человек, который больше всех знал о тайных лесных братствах; редкие часы, которые у него оставались от упорной безнадежной борьбы с болезнями, он посвящал исследованиям в этой области. Но он старался не разговаривать о них в присутствии своих слуг из страха, что его отравят.

Нам приготовили жилье в ста ярдах от миссии, оно показалось нам просто дворцом; это был деревянный до-

* Теперь, в 1946 году, доктор Харли уж отработал больше 20 лет в Ганте.— *Прим. автора.*

мик с железной крышей, на высоком фундаменте, предохраняющем от нашествия муравьев. В другой половине дома помещалась аптека, а прямо под окнами больница на открытом воздухе: длинные деревянные скамьи под тростниковым навесом. Лес подступал сзади, словно больничный сад. Ганта меня испугала: тут пахло лекарствами, болезнями и смертью. Мы как-то незаметно спустились с плоскогорья в низину, и воздух был здесь совсем другой — тяжелый и сырой. Кругом росли пальмы, земля казалась пропитанной влагой, повсюду были нечистоты и роились тучи мух. Никогда бы не поверил, что за один день пути климат может так измениться. Перемена сразу же сказалась на моем самочувствии: я совсем обессилел, вечером мне было трудно дойти до миссионерского дома, куда нас пригласили поужинать; желудок сразу же перестал действовать.

Ужин, помню, прошел невесело. Доктора Харли целый день не было дома, от усталости он дремал за столом; к тому же это был день рождения покойного ребенка. Когда доктор услышал, что я прошел весь путь от Сьерра-Леоне, не пользуясь гамаком, он обозвал меня сумасшедшим; он только что отправил в последний путь тело доктора Д., который прошел пешком сравнительно немного — из Монровии. В этом климате опасно долго ходить пешком. Я старался навести разговор на лесные братства, но он упорно от него уклонялся. Он сказал, что Сино, куда мы намеревались попасть, находится отсюда не меньше, чем в четырех неделях пути. При этом известии боль в желудке, которую я чувствовал уже несколько дней, стала еще острее. Я бы не возражал против того, чтобы прожить на одном месте хоть несколько месяцев, но мысль, что еще целые четыре недели придется терпеть физические лишения, вставать чуть свет и шагать по шести или семи часов сквозь эти чудовищно однообразные заросли, казалась мне невыносимой.

По дороге домой я вдруг вспомнил, что мы уже два дня не принимали хинин. Крысы добрались до наших головных щеток и погрызли щетину. Они бегали в моей комнате по стене вдоль крыши, не дожидаясь даже, пока я погашу свет. Я принял горсть английской соли, разведя ее в теплой кипяченой воде, которая все время капала из фильтра, и стал следить за тем, как крысы прячутся в узкую щель у меня над головой. На крыс мне

теперь уже было наплевать (монахини из Болахуна оказались правы); зато я испытывал такой же страх, как тогда в Англии, когда вдруг выяснилось, что моя затея с поездкой в Либерию увенчалась успехом и отступить уже поздно. Помню, я тогда думал: «Через три недели я буду там...»; «там» означало длинный список болезней. Я не испытывал никакой радости, я был просто испуган. И сколько бы я себя ни утешал: «Ладно, не буду пытаться дойти до Сино», я знал, что у меня не хватит мужества двинуться прямо на Монровию. Когда я погасил фонарь, крысы стали прыгать с потолка вниз, но крыс я больше не боялся. Я открывал в себе то, чем, казалось, никогда не обладал: любовь к жизни.

ЛИБЕРИЙСКИЙ КОМИССАР

Естественно, что при свете дня я почувствовал себя лучше; трудно уверовать в смерть до захода солнца. Однако четыре недели ходьбы до Сино казались мне не под силу, а у нас теперь люди были наперечет, и я не мог пользоваться гамаком даже при желании. Было и еще одно препятствие: недостаток денег. В Сино я не мог раздобыть ни гроша, а того, что у меня осталось, не хватило бы на оплату носильщиков, если бы мы выбрали более длинный маршрут.

Мы решили, что, попав в Ганту, нам следует нанести визит окружному комиссару. На нем был отлично сшитый тропический костюм, лицо украшали небольшие офицерские усики, кожа была желтоватая, и по внешнему виду он скорее напоминал итальянца, чем африканца. Комиссар славился своей честностью, справедливостью и административными способностями. В настоящее время он занимался тем, что таянул дорогу Саноквеле — Ганта дальше на юг. Мы снова столкнулись с либерийским патриотизмом, на этот раз с более европейской его разновидностью. Патриотизм комиссара Данбара был таким же, как у европейцев; его возмущала мысль о вмешательстве белых в дела его народа, и так как поведение англичан во время восстания племени кру угрожало независимости Либерии, он не любил англичан и им не верил. С нами он был вежлив, но сдержан; убеждать его, что наше путешествие не имеет политической подоплеки, было безнадежно. Я чувствовал, что все мои дружеские

заверения звучат фальшиво, разбиваясь о его непроницаемую вежливость, как о скалу. Убеждать его было безнадежно, но этот человек обладал такими достоинствами, что нам хотелось произвести на него хорошее впечатление. Однако чем больше мы старались произвести это хорошее впечатление, тем фальшивее и лицемернее казался нам самим наш тон.

Я старался заставить его высказать свои подозрения, упомянув город в закрытой для иностранцев береговой зоне, но в ответ он лишь предостерег нас, что мы вряд ли дойдем до Сино раньше, чем через пять недель. А долго ли нам придется ждать там парохода до Монровии? «Может быть, месяц», — сказал он, откинувшись на спинку плетеного кресла. Палящее солнце освещало его сзади, превращая красивое желтое лицо в темный, расплывчатый контур. Он намеренно допустил неточность, ибо, как мы выяснили потом, в Монровию каждую неделю ходил из Сино катер. Тогда я сказал, что мы изменим маршрут и отправимся в Гран-Басу, и он одобрил мою мысль; мы сможем дойти туда за десять дней, сообщил он нам, на этот раз явно преуменьшив расстояние. Сам он дороги не знал; ею пользовались только торговцы из племени мандинго; она непроходима во время дождей и вообще очень трудна, потому что проходит через самое сердце леса, но зато через десять дней мы будем на Берегу.

Данбар не доверял белым не из одних только патристических соображений. В Саноквеле, где находилась его резиденция, жил католический священник. Предшественник Данбара был женат на католичке. Священнику не нравилось, что Данбар не похож на своего предшественника: он твердо придерживался буквы закона и не делал священнику никаких поблажек. Католический пастырь старался избавиться от Данбара и писал на него доносы президенту в Монровию; жара и одиночество ожесточали обоих недругов. Священник воспользовался тем, что один из рабочих на строительстве дороги заболел, и забрал его к себе в миссию, но рабочий умер. Тогда священник тут же написал жалобу, обвиняя Данбара в том, что тот морит своих людей голодом, а одного из них забил до смерти. Данбар ответил на удар с завидной быстротой: он прибыл в миссию со взводом солдат до того, как рабочего похоронили, увез труп и священника за восемна-

дцать километров от Саноквеле — в Ганту, где попросил американского доктора осмотреть тело. Доктор Харли реабилитировал его, и священника выслали из Либерии. А что касается самого Данбара, то он понял: белые не только лицемерно ведут себя по отношению к его стране, но и делают подлости отдельным людям.

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

В этот день к нам зашел доктор, чтобы поговорить о тайных обществах — лесных братствах. Исследование этого вопроса было единственным увлечением, которое он сохранил после десяти лет пребывания в Африке, но прежде всего он хотел удостовериться, что моих носильщиков нет дома. Я пошел в кухню, где они спали. Там было пусто. Ламина сидел в тени больничного навеса, вид у него был несчастный: утром доктор вырвал ему зуб, и сквозь дощатую стену я слышал его жалобные вопли; теперь он боялся, что умирает, потому что из десны еще сочилась кровь. Он уже был слишком испорчен цивилизацией, чтобы намазаться туземным снадобьем, но захватил из Фритауна баночку кольдкрема и теперь вымазал им лицо, шею и волосы.

Я не этнограф и мало запомнил из того, что мне рассказал доктор Харли, а жаль, потому что ни один белый не постиг так глубоко эту «душу черного царства»: тайные общества укоренились в Либерии глубже, чем в любой другой части Западного Берега. Правительство с ними почти не борется. Да и о какой борьбе может идти речь, если власть имущие в Монровии сами причастны к верованиям. Ходили слухи, будто и президент Кинг член общества Аллигаторов.

Страшен этот мир, полный тайных обществ, ведь, по словам доктора Харли, в Ганту год или два назад открыто пришло с севера четыре человека в поисках жертвы для ритуального убийства. Все в Ганте знали, что они бродят где-то неподалеку, охотясь за нужными для жертвоприношения сердцем, кистями рук и кожей со лба, но никто не знал, кто они такие. Пограничная полиция была начеку. Но потом страх прошел. Люди из племени мано, живущие в окрестностях Ганты, понимали, за чем охотятся эти четверо, потому что у них самих существуют тайные людоедские общества. И хотя я ни словом не обмолвился

слугам о своем разговоре с доктором и среди моих носильщиков не было ни одного мано, Ламина и Амеду всё знали... Как-то раз Ламина мне сказал:

— Эти плохой люди — они варят човеков.

И наши слуги, и носильщики с радостью покинули землю племени мано. Это и есть то белое пятно, которое на американских картах так туманно и заманчиво обозначено: «Людоеды».

Общество Черепах у женщин и общество Змей у мужчин существуют, конечно, не только среди племени мано. Помимо тайного общества, существует и обычное общество Змей, нечто вроде высших курсов по дрессировке змей, лечению их укусов и змеиному танцу. Члены тайного общества поклоняются питону, и каждый год один из посвященных приносит ему в жертву младенца. Когда это общество терроризировало все население. Мы столкнулись с остатками родственного ему культа возле священного водопада за Гантой. Теперь только в Либерии, где тайные общества существуют безнаказанно, еще порой наблюдаются случаи убийства или исчезновения детей.

Доктор Харли очень гордился тем, что ему удалось обнаружить происхождение одного из «дьяволов», самого священного для женщин: достаточно любой из них на него взглянуть — и она погибла. Доктор установил, что этот «дьявол» — не отдельное лицо, а целый кружок молодых воинов, которые поступили в лесную школу одновременно с сыном вождя. Барабаны предупреждали женщин, что «великий дьявол» рыщет на свободе, а молодые люди в это время плясали в полном боевом уборе, ударяя о землю жезлами.

Среди этих «дьяволов» был, по словам доктора Харли, самый главный, чье влияние распространялось по всему Берегу и властью которого прекращались войны между племенами. Он мог появляться одновременно в далеко отстоящих друг от друга местах; его узнавали по одному ему присущей маске и одеянию. По-видимому, такую маску и наряд хранили в каждом из более или менее значительных поселений Западного Берега в доме совета старейшин или в хижине кузнеца. Ибо кузнец Мозамболахуна, тамошний «дьявол», был, по-видимому, не одинок в своих занятиях. Доктор Харли считал, что искусство кузнеца всегда связано с «дьявольским чином».

Во всей этой чертовщине есть что-то удивительно напоминающее романы Кафки: наставники в лесных школах, которые, сняв маску, оказываются всего-навсего местными кузнецами... Добираешься до деревни у подножия «Замка» * и узнаешь, что чуть не всякий может оказаться его хозяином; люди этого властелина повсюду... вокруг царит атмосфера насилия и ужаса... иногда ощущение чего-то прекрасного... «смысла, скрытого за смыслом, формы, спрятанной под другой формой». Могу себе представить, что, изучая семь лет эту религию, такую скрупулезно обрядовую, но в то же время такую многоликую, можно в конце концов отчаяться когда-нибудь ее постигнуть. Так и Ольга в романе Кафки, помните, старалась воссоздать «из мельком увиденного, из слухов и самых обманчивых и противоречивых свидетельств» образ Кламма. «Говорят, что он выглядит по-одному, когда входит в деревню, и совсем по-другому, когда из нее выходит; выпив пива, он отнюдь не похож на того, каким был, пока его не пил; когда он бодрствует, он не такой, как во сне; когда он один, у него совсем другой вид, чем тогда, когда он разговаривает с людьми, и чего же удивляться, если в Замке он вообще превращается в совсем другого человека». Вспомним о богатом и злобном советнике из Зигиты: а что если это был сам «дьявол»?.. А, может, «дьявол» — кузнец? Да и существует ли вообще «дьявол» как личность, как отдельное лицо, ведь была же «дьяволом» компания молодых воинов, а вдруг «дьявол» — это просто жульничество посвященных! Впрочем, было бы ошибкой считать молодых воинов обманщиками: в своей совокупности они и в самом деле были «дьяволом».

Ну а маски? Я спрашивал Марка, боится ли он Ландоу, когда тот, сняв маску, становится всего-навсего кузнецом из Мозамболахуна, и понял, что тогда он боится его меньше, хотя кузнец и без маски кажется ему не совсем обыкновенным человеком. Стало быть, сверхъестественное заключено в маске? Нет, скажут мне, дело тут в сочетании того и другого — человека и маски, хотя, с другой стороны, старые, вышедшие из употребления маски часто хранят, как талисманы, и даже «кормят»; существуют маски, на которые, даже когда они сняты, женщины

* Намек на роман Ф. Кафки «Замок».

нельзя смотреть под страхом самой страшной кары; ей грозит гибель — вероятнее всего, слуги «дьявола» расправятся с ней при помощи ножа или яда; однако будет ли такая кара сверхъестественной?

Слово «дьявол» употребляется, конечно, только неграми, говорящими по-английски, для того, чтобы обозначить понятие, совершенно чуждое нашей теологии; оно не имеет ничего общего с понятием «зла». Можно с равным правом называть этих «великих дьяволов леса» и ангелами, ибо они обладают ангельской вездесущностью и бестелесностью, если только ни в какой мере не соединять с этим словом идею «добра». В нашем христианском мире мы так привыкли к представлению о духовной борьбе между богом и сатаной, что этот потусторонний мир, в котором нет ни добра, ни зла, а есть только Сила, почти недоступен нашему пониманию. Правда, не совсем, потому что ведьмы, которыми пугают нас в детстве, тоже не добры и не злы. Они ужасают нас своим могуществом, но мы знаем, что спастись от них бесполезно. Они требуют только признания своей власти: бегство от них — это слабость.

В тот вечер доктор Харли показал нам устрашающую коллекцию уродливых масок «дьявола». Каждая из них была изготовлена художником, явно понимавшим свою задачу. Все эффекты были предусмотрены заранее. Были тут и двуликие маски женского тайного общества и мужские маски, на которые запрещено смотреть женщинам. Они отличаются от масок, которые носят танцующие «дьяволы». Те — наполовину человечьи, наполовину звериные; эти же точно воспроизводят черты человеческого лица. Среди них была одна с жидкой бородашкой из куриных перьев и еще одна, самая старая из всех (на вид ей было не меньше трехсот лет), с тонким носом и высоким лбом европейца. Такой маски я еще никогда не видел. Моделью для нее могло послужить лицо какого-нибудь португальского матроса, выброшенного кораблекрушением или насильно высаженного на Западном Берегу, а может, дело происходило не так давно и прототипом был торговец рабами начала прошлого века, кто-нибудь вроде Кано (в чьей автобиографии описан берег Либерии), какой-нибудь прихвостень своего португальца-хозяина дона Педро Бланка, построившего сказочный дворец на спорной заболоченной земле между Либерией и

Сьерра-Леоне, возле Шербро; в эту глушь еще до сих пор заходят торговые суда, к большущему неудовольствию экипажа; там еще сохранились развалины дворца с павильонами на островках для гарема, биллиардными и всеми изысками как европейской, так и африканской цивилизации. Прототип этой маски — давным-давно мертв, как мертв и Кано, как мертвы и либерийские леса, куда привела его непреодолимая тяга — быть может, к золоту, а быть может, к обладанию рабами. Но все его страсти запечатлены в маске, и я не думаю, чтобы среди них была жадность: из пустых глазниц на меня глядело ненасытное Любопытство.

СВЯЩЕННЫЙ ВОДОПАД

Перед тем как мы покинули Ганту, мне рассказали о священном водопаде в лесу подле деревни Зугбеи, по дороге в Сакрипие — следующий большой поселок на нашем пути. Если мы сделаем крюк, мы пройдем мимо Зугбеи. Вождь этой деревни был одним из учеников доктора Харли по миссионерской школе, и, хотя существование водопада много лет держали от доктора в тайне, этот ученик в последнее время как будто не отказывался проводить его туда. Когда-то у водопада приносились человеческие жертвы, но теперь тропинки к нему больше не расчищались.

Наутро, когда мы собирались двинуться на северо-восток, к Зулуйи, по новой проложенной Данбаром дороге, мне сообщили, что Бабу не может идти дальше: он болен. Это был один из немногих носильщиков, кто, хоть и не говорил ни слова по-английски, казалось, питал ко мне дружеские чувства. Я убедился в том, что на него можно положиться: он не присоединился к забастовщикам, требовавшим повышения платы. Думаю, что он был на самом деле болен; последние дни он носил большой груз, а человек он был не очень крепкий, да никто из носильщиков и не захотел бы сейчас оставаться один среди чужого племени не меньше чем в десяти днях пути от своей родни. Я охотно рассчитал бы его, хорошо отблагодарив, но боялся, что это вызовет охоту заболеть и у остальных. Пришлось изобразить гнев и расплатиться с ним не слишком щедро. Мне было стыдно, я понимал, что поступаю некрасиво; среди носильщиков у Бабу не было друзей,

кроме Гуавы (другого негра из племени бузи), и все над ним издевались. А я бы куда охотнее расстался с любым из них.

Но терять кого бы то ни было как раз теперь, когда я почувствовал, что мне скоро до зарезу понадобится гамак, было весьма некстати. У нас не хватало людей, чтобы нести даже пустой гамак. Мне пришлось распорядиться, чтобы тяжелый шест вынули и оставили в Ганте, а гамак добавили к какой-нибудь легкой ноше. Я видел, как неодобрительно поглядывает на меня доктор, мне без слов было понятно, о чем он думает.

Часа через два мы дошли до Зулуйи. Тамошний вождь был учеником Харли и взялся проводить нас до Зугбеи. Мы шли по крутому склону холма, густо поросшему лесом, который туземцы считают священным. Вождь нам сказал, что на этом холме жило племя маленьких волшебников; они спускались вниз и помогали племени маносражаться с врагами. Харли очень заинтересовался этим преданием: он впервые наткнулся на свидетельство о том, что в Либерии жили пигмеи. Может быть, от них остались какие-нибудь следы... По-моему, он уже мысленно составлял отчет, делал раскопки, открывал стенную живопись и купался в лучах той научной славы, которая была нужна даже его подвижнической натуре. Вон там в скале была большая дыра, сообщил нам вождь, показывая тропинку, которая исчезала в зарослях деревьев и кустарника, где жили эти маленькие люди. Раз в год мальчики носили в пещеру подарки. Последний из ребят, ходивший туда, еще жив, это старик из деревни Зугбеи. Голова у него была бритая, когда он туда шел, а когда вернулся обратно, волосы у него были искусно завиты. Теперь уже никто больше не ходит в пещеру, но подарки все еще приносят.

Мы дошли до крохотной деревушки Зугбеи в самый зной; жара тут была куда чувствительнее, чем на плоскогорье: воздух был насыщен влагой, которой скоро предстояло излиться дождями. Деревни уже не лепились к каменистым холмам, возвышающимся над лесом. В них попадаешь прямо из чащобы; они похожи на маленькие высохшие озерца, где совершенно нечем дышать.

Вождь повел нас к водопаду. Все мы думали, что увидим тоненькую струйку воды, сбегаящую по обломкам скалы; в это время года вода так убывает, что носиль-

шки переходили вброд даже большие реки, и челноки валяются на суше, трескаясь от жары. Мы шли напрямик через непроницаемую стену леса. Вождь и один из жителей деревни двигались впереди, расчищая тропу ножами. Непонятно, как они отыскивали дорогу. Они пробирались мимо стволов упавших деревьев, сползали вниз по отвесным склонам, все время расчищая путь, нигде не было и признаков протоптанной тропы. И вдруг у подножия самого крутого холма перед нами открылась лощина, наполненная шумом падающей воды, которая лилась, покрытая перьями пены, и падала на глубину в шестьдесят футов. Все соседние склоны вдруг ожили и покрылись людьми: девушками племени мано с красивыми, похожими на рожки грудями, и мужчинами, вооруженными широкими ножами. С нами, видно, пришла вся деревня, но лес был такой густой, что мы не видели никого, кроме вождя и его спутника. Люди сидели на холмах, наслаждаясь зрелищем этого почти невероятного водяного изобилия. Даже молодой вождь помнил, как у водопада происходило жертвоприношение — к концу сухого сезона змее в сто футов длиной, которая жила под водопадом, приносили в жертву раба. Это был тот же миф о радужной змее, который, по слухам, бытует даже в Австралии: он зародился оттого, что люди глядели на радужные отсветы падающей воды. Жертвоприношениям был положен конец, когда этот вождь был еще ребенком. Раб, хотя руки у него и были связаны за спиной, умудрился схватить тогдашнего вождя за одежду и утащить его за собой в воду. После этого жертв уже больше не приносили, а змея будто бы ушла вниз, к реке Сент-Джон, и живет сейчас в заводи, недалеко от того места, где мы переправлялись, между Гантой и Джиеке.

Мы простились с доктором Харли в Зугбеи. Можно было там переночевать, но меня мучила мысль, что мы все еще не повернули на юг. Мне хотелось поскорее почувствовать, что я двигаюсь к Берегу. Поэтому мы отшагали еще полчаса до какой-то скучной деревни, имени которой я так и не узнал. Она звалась как-то вроде Момбеи. Вождь не разрешил, чтобы нашим людям варили еду, но подарил мне корзинку рису, и носильщики сварили его сами. Однако, как всегда, покоя мне не дали. Я чувствовал себя больным и усталым. Карабкание по скалам к водопаду и обратно по самой жаре утомило

меня больше, чем длинный переход, и я страшно обозлился, когда, едва я сел, ко мне явился носильщик по имени Сиафа и стал показывать сифилитическую язву. Она была у него уже три года, он и не подумал показать ее доктору, который сделал бы ему вливание, и мне казалось, что он может обождать с лечением еще несколько недель, но я не должен был показывать свое раздражение или невежество. С тех пор мне каждый день приходилось разыгрывать комедию и делать вид, будто я перевязываю ему язву. Потом я принял большую дозу английской соли и лег спать; вдруг я почувствовал, что мучительно устал от крыс; так как керосина у нас теперь было вдоволь, я не гасил фонарь, но это нисколько не помогало. В комнате всегда оставались темные углы, где крысы могли разгуляться. Английская соль выгнала меня ночью из постели на опушку леса. Близилось полнолуние, и хижины вырисовывались в ярком, как днем, зеленоватом свете. Стояла полная тишина; из черного, мертвого леса не доносилось ни звука. Все двери были закрыты; из живых существ видны были только козы, которые бессонно бродили среди хижин. Даже тогда все это казалось мне удивительно красивым, что, однако, нисколько не убавило моего нетерпения поскорее вернуться домой. Магия этого пейзажа дошла до моей души много месяцев спустя; пока что я мечтал о лекарстве, о ванне, о холодном питье со льдом и о комфортабельной уборной, непохожей на этот уголок леса, усыпанный мертвыми листьями, где я в любую минуту мог в темноте наступить на змею.



ГЛАВА ВТОРАЯ

«ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

ПОЛНОЛУНИЕ

Когда мы шли вдоль северной границы, путь наш лежал по кромке бескрайних лесов; теперь мы упорно погружались все глубже, в самое их сердце. Мертвую тишину иногда прерывала перебранка обезьян; как-то раз дорогу нам пересек бабуин, он бежал ссутулившись, как старик, доставая землю кончиками пальцев; следы леопарда отпечатались на песке возле ручья, к которому выползла напиться змея. А возле ближайшей деревни, Иейбо, в зарослях терновника был вырыт круглый, неглубокий пруд, где лениво покачивалась в тени большая, похожая на карпа рыба. Было раннее утро, и я радовался, чувствуя, что каждый шаг приближает меня к дому: и в этой рыбе, и в пруде, и в спокойных деревцах было что-то удивительно английское. Каким надо быть дурнем, чтобы, заехав так далеко, находить удовольствие в пейзаже, хотя бы отдаленно, хотя бы мимо-

летно напоминавшем мне родину! Это удовольствие я испытал снова, когда мы вышли из леса на равнину, похожую на парки средней Англии: ручеек, просторное, холмистое пастбище, небольшое стадо коров, а в высокой траве купа деревьев, похожих на вязы. Но четверть мили спустя стена леса отгородила от нас Англию, а через ручей переходила вереница людей, совсем голых, если не считать повязки на бедрах; они несли луки и стрелы со стальными наконечниками.

Еще шесть часов пути, и мы достигли Пейи; вождь встретил нас приветливо, нам отвели чистую хижину, но деревня была совсем нищая. Почти все жители здесь были старые и больные, изнуренные трудом, страдавшие грыжей, изъеденные сифилитическими язвами. Вождя не уважали. Когда мы пришли, он плел циновку, но не успел он ее кончить, как деревенские жители забрались на нее и оттеснили самого вождя.

К хижине подошли восемнадцать носильщиков; теперь я уже не боялся забастовки или бегства: мы были слишком далеко от их родных мест. К тому же они стали гордиться нашим походом. Он был редкостным приключением в этих краях, где носильщиков принято нанимать на день, от одной деревни до другой. Я не раз слышал, как они с гордостью отвечали на вопросы встречных: «Болахун». Что из того, что те понятия не имели, где находится Болахун? Они-то знали, сколько миль прошли по лесам и рекам, миновали даже «Францию», а теперь скоро выйдут к морю.

Пока что они хотели получить по три пенса в счет своих заработков. В Ганте они заняли у повара два шиллинга, чтобы купить козу, и теперь он требовал уплаты процентов в сумме шести пенсов, что составляло около 50 процентов в неделю. Остальные деньги они хотели истратить на пальмовое вино и дополнительную порцию супа (так у них звалась ужасающая рисовая похлебка с обрезками мяса и рыбы неизвестного происхождения). Вождь взял у них деньги, но ничего не дал взамен; в этой бедной деревне он нашел только одно ведро риса, чтобы сварить кашу.

Но, как ни странно, это их ничуть не огорчило. Они не испытывали к вождю никакой злобы. На небе стояла полная луна. У них было мало еды, им нечего было выпить, но густое, зеленое сияние луны наполнило их ра-

достью. Они даже поделились своей скудной пищей с вождем, и в деревне допоздна слышались песни, смех и топот ног. Они просто ошалели от счастья там, на этой маленькой, залитой лунным светом лесной поляне. Им можно было только позавидовать. Мы, цивилизованные люди, потеряли всякую способность подпадать под влияние луны. Лунная ночь вызывает в нас стыдливую чувствительность и в лучшем случае — чисто умозрительное, искусственное возбуждение, становясь темой для эстрадных песенок и сентиментальных романсов о страсти и разлуке. Она не может в нас вызвать этот физический подъем, бездумный прилив радости. На другой день, когда мы шли, Марк мне сказал:

— Ах, как вчера было хорошо!

На следующую ночь луна казалась нам такой же полной, у них же не было календаря, который подсказал бы, что луна пошла на убыль, им не нужно было календаря. В предыдущие ночи они все больше подпадали под власть той силы, которая влечет нас к холодным, пустым кратерам луны; теперь они почувствовали, что власть эта чуть-чуть ослабела. Каждый месяц мир снова возвращается к пустому небу.

СТИВ ДАНБАР

На следующий день, когда мы шли по широким чистым улицам Сакрипие, поселка верховного вождя, где были лавки, торговцы из племени мандинго в тюрбанах и солдаты пограничной службы, нас встретил молодой человек в шляпе бойскаута и местной одежде.

Сам верховный вождь куда-то уехал, это был его сын. Он проводил нас в дом для приезжих на большой площади с флагштоком, обнесенной оградой и окруженной выбеленными хижинами, в которых жили жены вождя. У молодого вождя был заискивающий тон, как у комиссионера по продаже автомобилей, он чувствовал себя неуверенно потому, что не пользовался здесь ни малейшим авторитетом; над ним открыто насмехались, никому и в голову не приходило выполнять его распоряжения, когда он сидел со мной на веранде дома для приезжих. У него, по-моему, теплилась надежда, что наш приезд возвысит его в глазах населения поселка. Он послал за курицей и яйцами, но никто их не принес. Он ругал всех,

кто попадался ему на глаза, и чуть не плакал от огорчения.

— Мое имя,— вдруг кто-то произнес за моей спиной вкрадчивым голосом,— Стив Данбар. Рад с вами познакомиться. Это ваши стулья? Очень милые стулья. Я уже осмотрел ваши койки.— Я обернулся. Позади стоял пожилой мандинго в красной феске и балахоне; он кивал и улыбался. По-английски он говорил превосходно.— Вы путешествуете по нашим местам,— продолжал он.— Надеюсь, вам повсюду оказывали должное гостеприимство? Стулья у вас замечательные. Таких я еще никогда не видел.

— Они складные,— сказал я.

— Очень интересно. Один из них я куплю.— Он повторил снова: — Мое имя Стив Данбар. Меня интересует и ваша койка. И этот стол (это был ломберный стол, купленный за три шиллинга одиннадцать пенсов).— Он тоже складной? Я его куплю.

Я сказал:

— Увы! Сначала нам надо добраться до Монровии. Пока мы туда не попадем, я, к сожалению, ничего не смогу продать.

Он сразу же переменял тему разговора:

— Этот вождь,— заявил он,— славный молодой человек. Если вам что-нибудь понадобится, скажите мне.

Я сказал, что моим людям надо сварить поскорее пищу. Я хорошо отблагодарю за эту услугу. Он передал мои слова вождю.

— Вождь согласен,— сообщил он мне.

— Я хотел бы, чтобы пищу сварили пораньше. Вчера вечером они почти ничего не ели.

Вождь обмахивался шляпой бойскаута. Он был разгорячен и взволнован. Он разослал несколько человек в разные места.

— Вы идете в Ганту? — спросил Стив Данбар.

— Нет, что вы! — ответил я.— В Монровию. Но сначала в Гран-Басу. И в Тапи-Та. Как нам пройти в Тапи-Та?

— Вы хотите посмотреть слонов? — заинтересовался Стив Данбар.— Ну, там их сколько угодно. Сотни. Ступайте в Баплаи. Там в Баплаи есть один цивилизованный человек. Мой друг. Мистер Нельсон. Вам он очень понравится. Можете ему сказать, что вы мой друг.

Из Баплаи вы пройдете на Тове-Та. Увидите уйму слонов. Они так и будут бегать взад и вперед по вашей тропе.

За спиной у Стива Данбара я заметил перепуганное лицо Ламина. Стив Данбар сказал:

— Сейчас я с вами прощусь, но мы увидимся в Монровии и поговорим насчет койки и стула.

Он зашел в комнату, еще раз взглянул на койку, а потом пошел по двору в сопровождении своего слуги; у него был вид компаньона в солидной торговой фирме. Вождь и я сидели молча. Его глаза были прикованы к бутылке, которую Амеду поставил на ломберный столик. Вскоре его меланхолическое томление стало меня раздражать, я налил ему на дно стакана чистого виски, и он ушел.

И сразу же ко мне подбежал Ламин. Он был взволнован (его вязаная шапочка и побрякушки на шее съехали набок), а когда он волновался, его почти невозможно было понять. Наконец, я сообразил, что ему нужна коза. «Чтобы ее сварить?» — «Нет, не для этого». Он что-то толковал о слонах. К нам подошел Амеду и пояснил, что отсюда мы пойдем по самым густым зарослям, где очень много слонов, а поэтому носильщикам нужна коза. Я по-прежнему ничего не понимал. Он объяснил, что слоны пугаются козьего крика; нужна совсем-совсем маленькая козочка. Все это казалось мне враньем, но я решил, что если с козой они будут чувствовать себя спокойнее, я охотно куплю им козу. В Ганте коза стоила всего два шиллинга. Я сказал посланцу верховного вождя, который все еще торчал возле нашей веранды, что мы хотим купить козу. Через час пришел какой-то мальчонка ростом не больше трех с половиной футов с крошечным козленком на плечах. Владелец хотел получить за свою собственность шесть шиллингов — видно, здесь, на границе слоновьего царства, козы были на вес золота. Носильщики возмутились: коза им нужна, но они опозорят себя, если хозяин заплатит за нее слишком дорого; лучше они встретятся со слонами без всякой защиты. Я отказался от козы, хотя цена на нее упала до четырех шиллингов. Носильщики никогда еще не выходили за границы поселений своих племен; им было непонятно, что цены могут колебаться в зависимости от спроса и предложения. Когда цена на рис от Сакрипии

и дальше стала повышаться, они были возмущены, им казалось, что над ними издеваются.

О происхождении «теории козы» я узнал позднее, в Тапи-Та, от полковника Дэвиса — знаменитого усмирителя племен кру. Рассказывают, что как-то раз коза поспорила со слоном, кто из них больше съест в один присест. Слон ел, ел и заснул. Когда он проснулся, коза стояла на верхушке высокой скалы. Она сказала, что съела уже все вокруг и сейчас возьмется за слона. С той поры слоны боятся козьего голоса. Я не убежден, что сам полковник Дэвис не верил в эту историю.

Когда солнце садилось, громкие крики заставили меня подняться с постели. Все жители Сакрипии толпой бежали к нашей ограде вслед за двумя огромными «дьяволами» на ходулях и в масках. Высотой они были больше восемнадцати футов. Голову покрывали высокие колдовские шапки, обшитые по полям мелкими ракушками, лицо — черные маски, словно сшитые из старых бумажных чулок, тело — полосатые пижамы с зашитыми рукавами (чтобы не показывать кистей рук) и короткие пижамные штаны. Ходули были тоже обтянуты полосатой материей, но потоньше. Представление показалось мне очень забавным и даже изысканным. Усевшись на крыши хижин, «дьяволы» лениво обмахивались, скрестив ноги, а потом, вытянув одну ногу вдоль соломенной кровли, притворились спящими. Они отлично понимали, что такое сценическое напряжение, и заработали бы овации у самых пресыщенных завсегдатаев мюзик-холла, когда, откинув все свое негнущееся и непокорное тело под углом около двадцати градусов, едва удерживались от того, чтобы не упасть. С ними был переводчик. Он лежал на земле, а «дьяволы» прыгали совсем рядом, так что казалось, будто деревянное копыто вот-вот воткнется ему в лицо; но в последнюю минуту они проскакивали мимо. Когда представление окончилось, они вышли, перешагнув через забор: ворота для них были слишком низки. «Дьяволы» усьелись на десятифуттовую ограду и перенесли через нее сначала одну, а потом другую негнущуюся ногу, словно старики, перелезающие через изгородь, и еще долго после этого мы видели их колдовские колпаки — они качались над крышами хижин.

Когда «дьяволы» ушли, уже спустились сумерки, и я стал беспокоиться, когда же, наконец, накормят моих

людей. Прошло уже двое суток с тех пор, как они поели досыта. Я послал за вождем, который сказал, что пища готовится. Я дал ему виски в надежде, что, выпив, он живее примется за дело, но он сделался только еще более сонным и бестолковым и все так же не мог совладать со своими непокорными односельчанами. Когда стало совсем темно и мы с братом сидели на дворе, выжимая лимон в виски, он явился и привел с собой хорошенькую девушку, которая оказалась одной из двух его жен. По его словам, у отца, верховного вождя, их было пятьдесят пять. Он выпил еще виски и совсем захмелел. Меня угнетала мысль о носильщиках — они с несчастным видом слонялись по двору, стараясь не попадать в полосу света, который отбрасывал мой фонарь; мне хотелось показать им, как я хлопочу о том, чтобы их накормили; меня мучила совесть: вот я сижу, пью виски и мне сейчас подадут, а они бродят голодные. Я заявил вождю, что он врёт, он ничего не сделал для того, чтобы накормили моих людей, и он сразу же вскочил — заносчивый, пьяный и чуть-чуть вкрадчивый, каким и положено быть комиссионеру по продаже автомобилей, которым ему следовало бы стать. Он сейчас мне докажет, что не врёт; еду уже готовят, пойдемте вместе, увидите сами, и он быстро зашагал в поселок. Я окликнул Ванде и бегом бросился догонять вождя. Ночь была прекрасная: никогда еще не видел я на небе такого количества звезд; выпитое виски примирило меня со всем светом; я даже готов был поверить на слово вождю, когда он, остановившись возле одной из самых дальних хижин, показал мне на группу женщин, чьи лица были освещены низкими, неторопливыми языками пламени: на костре варился большой котел риса.

— Вам этого хватит? — спросил я Ванде, и Ванде ответил, что да, хватит.

Мы оба не понимали тамошнего наречия и не могли спросить женщин, действительно ли рис предназначается для наших носильщиков. Несколько угрюмых представителей местной знати держались в стороне, подальше от нас; они ненавидели нас, ненавидели молодого пьяного вождя. Мы вернулись, и я в конце концов лег спать. Через час или два в моей хижине послышались шаги. Это был Амеду. Он пришел мне сказать, что носильщики так и не получили пищи и голодные улеглись спать.

В погоду и в самом деле наступал перелом: через несколько недель дорога в Гран-Басу могла стать непроходимой. Я проснулся в половине пятого, лил дождь: пустой двор освещали зеленые молнии. Коровы вождя — огромные, светло-бежевые животные с загнутыми рогами и бархатными глазами — прижались к женским хижинам, стараясь укрыться от непогоды. По всему было видно, что рано нам отсюда не выйти. Носильщиков не было; мокрые, голодные и несчастные, они появились в половине седьмого, когда дождь уже стих и только сверкали зарницы.

Я позвал Ванде, дал ему полкроны и велел купить козу и еще чего-нибудь, что он найдет нужным, а носильщикам сказал, чтобы они сварили весь запас риса, который у нас был, и поели до ухода. В это время перед хижинкой появился молодой вождь; у него болела голова, во рту пересохло, лицо было пристыженное и смущенное. Я делал вид, будто не вижу его, пока он не влез ко мне на веранду, но и тогда не предложил ему сесть. Я подождал, пока мои носильщики не подошли поближе, и стал его ругать. Я вел себя как настоящий империалист, очень начальственно объясняя ему, что вождя ценят за дисциплину, которую он должен поддерживать, и что его старейшины обязаны его слушаться.

Нам удалось выйти из Сакрипии только в половине десятого; мы еще никогда не выступали так поздно — ведь в десять часов жара становится палящей. Идти было трудно: таких плохих троп не было от самой Зигиты; вчерашняя гроза показала нам, во что превратятся эти тропы, когда пойдут дожди. Они уже сейчас совсем раскисли, и людям порой приходилось пробираться по пояс в воде. Мы шли в Тапи-Та обходной, но зато тенистой дорогой, не желая мучиться два долгих дня на солнцепеке; деревенские жители, которых мы встречали, первый раз в жизни видели белых. Они с криком бежали с нами рядом, размахивая пучками листьев, пока мы шли по земле их деревни; у невидимой черты, пересекавшей лесную тропинку, они всегда останавливались. Как-то раз они попытались схватить гамак моего двоюродного брата и торжественно пронести его по своей деревне, но Амеду вытащил меч и отогнал их.

Через пять часов пути мы вошли в Баплаи. Здесь, в самом сердце леса, живет племя гио, которое едва-едва умудряется прокормиться. Остроконечные крыши проваливаются, жители ходят голые, в одних набедренных повязках. Они так худы, что, кажется, сквозь сифилитические язвы у них просвечивают кости. Но присутствие «цивилизованного» человека вынуждает их содержать заезжий двор — маленькую, сырую хижину с двумя клетушками размером не больше собачьей конуры, где, видимо, ночевали правительственные чиновники, если они когда-либо забирались на землю племени гио.

Из своей хижины, стоявшей рядом, появился мистер Нельсон. На нем рваные белые штаны и рваная пижамная куртка, на которой почти не осталось пуговиц; босые серые ноги обуты в шлепанцы без задников. Голову прикрывает нечто вроде ковбойской шляпы, а белки глаз желтые, как у старого малярика. В этом отпрыске белого и негритянки вся жизненная энергия высохла — разве что осталось чуть-чуть злобы и жадности; год за годом он влачит здесь дни, выжимая налоги из нищих деревень, не получая никакого вознаграждения, кроме процентов, которые ему удастся украсть. Его официально признают человеком «цивилизованным», потому что он говорит по-английски и умеет подписать свое имя.

Когда мы с носильщиками вошли в деревню, он решил, что я правительственный агент, и спросил, какими я «пользуюсь привилегиями»: сколько мне положено бесплатных слуг; сколько корзин рису я имею право содрать с этой голодной деревни. Я ответил, что у меня нет никаких привилегий, но что я желал бы купить еды для моих людей.

— Купить? — переспросил мистер Нельсон. — Купить? Ну, это не так просто. — Глаза его сверкнули ненавистью. — У этого народа проще взять силой, чем купить.

Спустя некоторое время я сфотографировал его с женой, старой женщиной из племени гио, голой до пояса. Потом он пришел ко мне, сел и стал лениво рассуждать о политике.

Я заговорил о кандидатах на будущих президентских выборах.

— Нет, — заявил мистер Нельсон, устремив свои злые желтые глазки в небо над дырявыми остроконечными крышами, — нам этот Фоклнер не нравится. — Помолчав,

он собрался с силами и пояснил: — Понимаете, у него есть идеи.

— Какие идеи? — спросил я.

— Кто знает? — ответил мистер Нельсон. — Но нам это не нравится.

В сумерки из леса вышел молодой человек в сопровождении мальчика, который нес ружье. Молодой человек был коренным жителем здешних мест, с круглым, печальным и добрым лицом, в гольфах, украшенных у колена яркими кисточками, в такой же ковбойской шляпе, как у мистера Нельсона. Он представился: Виктор Проссер из племени баса, учитель в Тове-Та. Возвращается из Саноквеле — поселка в двух днях пути отсюда, — куда он ходил к католическому священнику исповедоваться и захватил с собой обратно в школу своего самого младшего ученика. Набожный молодой человек, воспитанный католическими монахами на Берегу, теперь возглавлял маленькую миссионерскую школу. Когда Проссер узнал, что я тоже католик, он пришел в восторг. Усевшись рядом с мистером Нельсоном, он снова и снова повторял по-английски, тихо и не очень уверенно (мне даже пришлось наклонить в его сторону голову, чтобы расслышать): «Вот как хорошо! Очень хорошо! Вот хорошо! Это очень хорошо!» Мистер Нельсон поглядел на него с едким цинизмом и ушел, оставив нас вдвоем.

Виктор Проссер сказал, что сейчас позовет своего самого младшего ученика и тот почитает мне катехизис; он отдал какое-то распоряжение мальчику с ружьем, даже не спросив меня, хочу ли я слушать, он считал, что каждый католик рад слушать чтение катехизиса во всякое время дня и ночи. Вошел негритенок — малыш лет трех, одетый в прозрачную рубашонку. На Баплаи уже упала тьма, когда он начал быстро бормотать с таким странным произношением, что я понимал только отдельные слова — «простительный», «чистилище», «святое причастие»... Виктор Проссер его прервал:

— А что такое чистилище?

И маленький негр из племени гио быстро повторил формулу, принятую на бог весть каком средневековом соборе:

— Чистилище это такое состояние...

Я отлично видел, что он не читает по книге, что все

он выучил наизусть, ну и что же? Вот передо мной Виктор Проссер, который в свое время тоже был маленьким негритенком, обладавшим всего-навсего способностью быстро запоминать слова, не имевшие для него никакого смысла, а теперь он сидит, явно восхищенный идеями «чистилища» и «святого причастия». И он, и этот малыш, оба учились по старому английскому букварю с маленькими гравюрами, изображавшими дам в турнюрах и мальчиков в панталонах со штрипками. Виктор Проссер отказался от виски, которое я ему предложил, и, прощаясь, сказал, что сам проводит нас завтра утром до Тове-Та.

И в конце концов на этой голой грязной прогалине в гуще леса мы обнаружили куда больше душевности, чем можно было ожидать; даже у толстого вождя в замусоленной рубаше и мятом котелке, который так хмуро нас встретил, приняв по ошибке, как и мистер Нельсон, за правительственных чиновников, оказалось доброе сердце. Ама и Ванде задолго до наступления ночи дропьяна напились пальмовым вином, а когда мы сели обедать, свет факелов возвестил о приближении вождя с пищей для носильщиков. Он стоял перед нами, покачиваясь между двумя пьяными факельщиками, а Ванде щептал мне на ухо:

— Вождь — хорошо. Вождь — очень хорошо.

А люди вождя при свете горящих щепок все несли мимо остроконечных хижин миску за миской горячей еды. Носильщикам никогда не устраивали такого пиршества.

Я вспоминаю, как бродил по деревне, прислушиваясь к смеху и музыке, звучащим возле небольших, но ярко горевших костров, и думал, что, оказывается, мое путешествие все-таки себя оправдало: оно снова пробудило во мне веру в благородство человеческой природы. Эх, если бы можно было сбросить с себя все и вернуться к такой простоте, душевности, непосредственности чувств, не испорченной рассудком, и начать все сызнова...

Я, наверно, был куда сильнее заморожен этой ночью, чем Ванде, который, уцепившись за мой рукав в тени одной из хижин, просил меня спрятать полкроны, которые я дал ему утром: он боялся носить при себе такое богатство среди этого дикого лесного племени. Он вытащил из кармана зеленый лист и развернул его: внутри

был спичечный коробок, в коробке — еще лист, а уже в нем — серебряная монета. Потом он вернулся к своему пальмовому вину, и позже я снова столкнулся с ним: он бродил в блаженном опьянении под руку с вождем, который приберег для него лишнюю миску каши.

«УРА, ЛИБЕРИЯ, УРА!»

Я проснулся в пять. Мне снилось, что кто-то читает оду Мильтона «Утро Рождества Христова». Стихи придумались во сне, но взволновали меня больше, чем вся поэзия, которую я знал до сих пор. Две строки об ангелах, осиянных ослепительным светом, показались мне особенно прекрасными, и, проснувшись, я долго еще верил в то, что их и на самом деле написал Милтон. За остроконечными крышами занималась заря. Сырой, мгlistый ветерок принес запах козьего стада. Во всем был виноват Виктор Проссер, ведь это он внушил людям на этой пустынной языческой земле мысли о божестве, о небесных полчищах, светлых кушках и нестерпимом сиянии небес.

Я простился с вождем и мистером Нельсоном. Когда я сделал вождю денежный подарок, тот даже отпрянул — так не привык он получать деньги. Машинально он протянул эти деньги сборщику налогов, и так же машинально рука мистера Нельсона протянулась, чтобы их взять. Но тут Нельсон сообразил, что за ним следят, и обратил все в шутку с деланным весельем, которого во все не выражали его пустые, малярийные глаза.

Виктор Проссер шел впереди с моим двоюродным братом. Ему хотелось разузнать множество вещей по дороге в Тове-Та. Правда, что королева Елизавета была протестанткой, а Мария Стюарт католичкой, как и он? Откуда течет Темза? Лондон стоит и на Тибре тоже или только на Темзе? Швеция и Швейцария — это одна и та же страна? Он расспрашивал о Лондоне, и мой брат почему-то стал описывать ему метро, которое трудно было представить человеку, никогда не видевшему обыкновенного поезда.

— Очень любопытно, — произнес он холодно и недовверчиво, когда брат мой кончил, и, переменив тему разговора, стал напевать английский гимн.

Позади них шел мальчик с ружьем, а замыкал шествие крошечный негритенок в прозрачной рубашонке.

Виктор Проссер шагал медленно и с трудом: оберегая свой престиж директора школы в Тове-Та, он носил туфли без задников.

Он предложил моему двоюродному брату спеть «Боже, храни короля» — его обучили петь гимн католические миссионеры на Берегу. Не пойму, зачем им это было нужно: все они были ирландцы. Он сказал, что знает несколько протестантских псалмов, и настаивал, чтобы, пробираясь сквозь либерийские леса, они спели вдвоем «Вперед, воины Христовы». Когда я их догнал, Проссер пел национальный гимн Либерии.

Ура, Либерия, ура!

Ура, Либерия, ура!

Навсегда свобода нашим краем завладела.

Наша слава молода, юны наши города.

Нашей мощи — нет зато предела.

В радости и ликования сердца наши сливая,

Воспоем же просветленье тьмой задавленного края.

Да здравствует Либерия, счастливая страна.

Великая свобода нам господом дана.

Ура, Либерия, ура!

Ура, Либерия, ура!

В единении наша сила и отрада.

Бог — верховный наш глава, он блюдет наши права.

Мы преодолеем все преграды.

Мы отчизну грудью защищаем

И врагов с отвагою встречаем.

Да здравствует Либерия, счастливая страна,

Великая свобода нам господом дана *.

Патриотические чувства показались мне куда более уместными в Монровии, когда этот гимн выкрикивали двести школьников; зато тут и в самом деле был «тьмой задавленный край», высокие деревья стояли по сторонам, как утесы из мутно-зеленого камня, которые воистину все «преодолеют». Скоро Виктор Проссер бросил петь, ему мешали его шлепанцы, и он все больше и больше от нас отставал. Я еще слышал, как он напевает себе под нос «*Venite, adoremus*» **, когда мы шли мимо похожих на могилы ям, вырытых в прошлом году каким-то голландским золотоискателем.

Тове-Та довольно большое селение, тут находится дом верховного вождя, и лес вокруг вырублен. К по-

* Перевод Б. Слуцкого.

** «Приидите, помолимся» (лат.).

селку поднимается широкая дорога; и в самом начале дороги стоит окруженная изгородью большая четырехугольная хижина — это школа Виктора Проссера. Тут он стал держать себя иначе: в своих краях он важная персона. На наших часах было половина десятого; примерно столько же показывали красивые серебряные часы, которыми Виктора Проссера наградили на Берегу. Занятия в школе, по его словам, уже начались; младший учитель присматривает за детьми, пока нет директора; не хотим ли мы зайти и посидеть на уроке? Но, когда он отворил дверь, учеников в классе не оказалось; в маленькой комнате стояли пустые скамьи, на двух гвоздях была подвешена трость, а кафедра еле-еле держалась на своих кривых, расшатанных ножках. И когда Виктор Проссер сердито спросил, почему не было звонка, молодой помощник молча показал на ржавый кухонный будильник, стоявший на кафедре. Его стрелки показывали 8. 45. Виктор Проссер смутился; мы снова сверили часы; директор зазвонил в звонок, переставил будильник на девять и повел нас на холм, к кухне верховного вождя.

Это величественное здание было слишком обширно, чтобы я смог его сфотографировать, — некуда было отойти, чтобы оно целиком попало в кадр. Над круглым строением, открытым со всех сторон, возвышалась большая конусообразная труба из туго сплетенного тростника. У своего основания, над нашими головами, она достигала не меньше ста пятидесяти футов в диаметре, а кверху постепенно сужалась, и через ее отверстие (оно было выше шпиля собора в Солсбери) виднелся крошечный клочок неба. Пришел вождь и преподнес мне курицу и корзину рису — обременительный дар: такую корзину с трудом тащил носильщик. Гамак моего двоюродного брата теперь пришлось нести только троим.

До Гре было еще пять часов ходьбы, и дорога угнетала своим однообразием. Я старался думать о будущем романе, но не позволял мыслям задерживаться на этом слишком долго, о чем же я тогда стану думать завтра? В конце концов обнаружилось, что Гре — еще более бедная деревня, чем Баплаи. В хижинах спать оказалось невозможно: крыши были такие низкие, что нельзя было ни выпрямиться, ни поднять шест для москитной сетки. Поэтому я распорядился поставить наши койки в кухне, в самом центре деревни, чем страшно огорчил Амеду: он

никогда еще не путешествовал с белыми за пределами Сьерра-Леоне, и то, что я решился выставить себя напоказ перед всей деревней, поселившись в открытой со всех сторон кухне, нас очень унижало.

Был тут мальчик, сын вождя, который говорил по-английски, потому что воспитывался на Берегу; он звался Сэмюэлем Джонсоном. То там, то сям в этих первобытных местах на глаза попадались странные обрывки «цивилизации», свидетельствовавшие, что наконец-то мы движемся на юг. В кухне кто-то намалевал яркие, совсем детские картинки с изображением пароходов; по улице шел мальчик с зонтиком, совсем голый, если не считать кусочка синей материи, пришитой к бусам и едва прикрывавшей срам, и пояса европейского школьника с пряжкой в виде змеи, который был застегнут высоко под грудью, над пупком. И еще один признак «наступления цивилизации» (поскольку у черных почти не встречаешь половых извращений): два голых женоподобных негра с волосами, уложенными в колечки, целый день простояли рядышком, держась за руки и не сводя с меня глаз. Ван-де снова напился пальмовым вином, а Ама отхватил себе кончик пальца одним из моих мечей, которым крошил мясо для обеда носильщикам. Меня раздражало все на свете; виски я больше не мог пить вволю — ящик почти опустел; я лег в постель и всю ночь не смыкал глаз, потому что в хижину то и дело забредали козы и спотыкались о нашу кладь. Я злился на них, словно они были виноваты в своей дурости и в том, что такие нескладные. Я с радостью променял бы их на крыс; от крыс шума было не меньше, но я уверял себя, что в этом шуме была по крайней мере какая-то целеустремленность: они знали, что делают, глупее же этих коз нет ничего на свете... Я чуть не плакал от изнеможения, от злости, от желания уснуть.

ТАПИ-ТА

А наутро, когда Амеду пришел, чтобы меня разбудить, он сказал, что Ламина очень болен и не может идти дальше. Он всю ночь промучился от боли в десне (ему недавно выдернули зуб). Аспирин, который я ему дал, не помог. Теперь он, наконец, задремал. Дело было гораздо серьезнее, чем если бы заболел кто-нибудь из носильщи-

ков: за того я не нес такой ответственности — ведь он находился в своей собственной стране, если и не среди своего племени; Ламина же я привез из другой страны, его нельзя было бросить на произвол судьбы. Но перспектива провести еще один день в Гре казалась мне невыносимой. Я обещал носильщикам отдых в Тапи-Та — это большой поселок, где живет окружной комиссар, я надеялся купить там свежих фруктов, в которых мы так нуждались. В Сакрипии у нас кончились даже лимоны; апельсинов мы не видели уже две недели. Я не знал, что в этом отношении Тапи-Та принесет нам разочарование.

Я предложил Амеду, чтобы Ламина задержался здесь на день, а мы подождем его в Тапи-Та. Но Амеду сказал, что Ламина боится здесь оставаться.

— Это страна племени гио, — объяснил он, — а они кушают людей.

Поэтому мой двоюродный брат уступил свой гамак Ламина, и мы его туда уложили; вид у него был ужасный, а я боялся, что если он и в самом деле умрет, угрызения совести меня совсем замучают; из-за моей дурацкой страсти к новым впечатлениям погибнет такой чудесный, прямодушный, веселый человек, который так умеет радоваться жизни! Я опасался, что у него заражение крови, но страхи мои были напрасны. Больше всего Ламина страдал от трусости — в Тапи-Та он сразу же выздоровел.

Мы три часа шагали по лесу, пока не вышли на неровную дорогу, шириной не уступающую Оксфорд-стрит. Это подтверждало рассказы президента о строительстве дорог в глубине страны. И хотя дорога была слишком неровной для каких бы то ни было машин, высокие штабеля деревьев по обеим ее сторонам показывали, какая огромная работа потребовалась, чтобы ее проложить.

Мы снова попали в сферу влияния либерийских властей. Я наслушался много рассказов о комиссаре из Тапи-Та и очень хотел его повидать. Но мне и во сне не снилось, какая удача меня здесь ожидает. В Тапи-Та находился сам полковник Элвуд Дэвис, руководивший военными операциями против племен кру в прибрежной полосе, человек, которого британское правительство обвиняло во всевозможных зверствах; на протяжении четырех миль пути по проложенной в зарослях дороге его

имя беспрестанно поминали все встречные. Это имя пользовалось здесь широкой известностью; друзья восхищались полковником, враги говорили о нем с издевкой и, как я узнал, прозвали его «диктатором Гран-Басы».

Дорога не доходила до Тапи-Та. Через час она кончилась; посреди леса работала кучка голых людей, они валили громадное серебристое дерево. Вырыв канаву глубиной около трех футов, они уселись в ней на корточки, распевая и колотя все в лад по стволу широкими ножами; два барабанщика выбивали им такт. Потом мы шли еще несколько часов по лесным тропам, пока, наконец, в самую жару, когда солнце стояло прямо над головой, снова не выбрались из леса на широкую, открытую дорогу. Земля под ногами превратилась в белоснежную пыль, от нее слепило глаза даже в дымчатых очках.

Ко мне подошел Амеду; он говорил с Марком и другими носильщиками и был очень встревожен присутствием в Тапи-Та великого человека.

— Это злой человек, — сказал он мне. — А что если он обидит хозяина?

Я совсем не был уверен в том, что он меня не обидит. В Монровии считали, что я путешествую только по Западной провинции, а я вдруг очутился здесь, много восточнее, в центральной части страны. У меня не было положенных документов, моя либерийская виза давала мне только разрешение высаживаться в определенных портах.

Все это меня тревожило. Я еще не встречался с полковником Дэвисом и представлял его себе существом кровожадным. Моя тревога еще более усилилась, когда перед нами открылась резиденция окружного комиссара (поселок Тапи-Та лежит позади нее). Это было внушительное скопление одноэтажных домиков с верандами, обнесенное деревянным частоколом; у всех ворот стояли вооруженные часовые, а посреди двора на флагштоке развевался либерийский флаг. Несмотря на то что мы прибыли в час полуденного отдыха, в резиденции наблюдалась кипучая деятельность. С точки зрения журналиста, я попал сюда как раз вовремя; однако, с точки зрения либерийцев, должен признаться, я выглядел подозрительно и был очень похож на шпиона, когда подвел свой удивительный караван прямо к главным воротам, — слишком уж своевременным было мое появление.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДИКТАТОР ГРАН-БАСЫ

ЧЕРНЫЙ НАЕМНИК

Когда часовой ввел меня на просторный чистый двор, я почувствовал себя ужасно грязным и ужасно нескладным в своих длинных чулках, запачканных штанах до колен и слишком британском защитного цвета шлеме. Какой невыгодный для меня контраст со всеми этими черными господами, сидящими на веранде, в элегантнейших тропических костюмах и мундирах! Они только что отобедали и теперь пили кофе и курили сигары. Интересно, который из них полковник Дэвис? Чувствовалось, что, пока я стою тут на солнцепеке с видом бродяги, повсюду идет деловая жизнь: чиновники приносят депеши и поспешно убегают восвояси, часовые отдают честь, а высокомерные господа из дипломатического мира, перегнувшись через перила, с вежливым любопытством рассматривают покрытого пылью пришельца.

Часовой вернулся и проводил меня к другому домику, менее роскошному, чем первый, с несколькими расшатанными стульями на веранде. В дверях появился окружной комиссар; из-за его спины выглядывала неопрятная мулатка. Комиссар был пожилой человек с желтым лицом и старомодными бакенбардами, давно не бритый, с гнилыми зубами, в потрепанном защитного цвета мундире и в самом грязном и облезлом тропическом шлеме, какой мне приходилось видеть. Лицом он напоминал сурового мучителя-папашу из какой-нибудь детской книжки конца прошлого века; звался он Уордсворт, но ничем не напоминал своего однофамильца поэта. Думаю, что его внешность была обманчива, и на самом деле, будучи человеком застенчивым, он больше всего боялся, как бы его не обидели; очень может быть, что под этой угрюмой внешностью скрывалось золотое сердце. Пока что он возвышался надо мной, как желтый властелин, и я уж было решил, что он откажет мне в приюте, но вместо этого он вызвал своего младшего брата — квартирмейстера.

Мистер Уордсворт младший был совсем не похож на брата. Круглолицый, с темно-серой, как у тюленя, кожей, с мягкими губами (в его жилах текло, по-видимому, меньше белой крови), он выказывал величайшее дружелюбие каждому встречному. Это он снял передо мной шляпу у пересечения дорог возле Ганты. Он отвел меня в соседний домик — дворец из четырех комнат и кухни. В одной из комнат мы обнаружили верховного вождя; он сидел поджав ноги на деревянной лежанке и обедал с вождем одного из здешних племен. Лицом он был удивительно похож на бывшего испанского короля и носил туземное платье и фетровую шляпу. Мы явились в Тапи-Та как раз тогда, когда там шло совещание местных вождей. Они жаловались на окружных комиссаров — в частности, на Уордсворта, и полковник Дэвис прибыл сюда в качестве уполномоченного президента, чтобы разобраться в их жалобах. На совещание съехалось и несколько окружных комиссаров. Мы прибыли в обеденный перерыв.

Я уселся в деревянное кресло и стал дожидаться остальных. Верховный вождь поспешно появился из спальни и заявил, что кресло принадлежит ему. Я могу в нем сидеть, но оно его.

Дом совета старейшин, расположенный тут же, в ограде, стал наполняться народом; вожди целым потоком входили в ворота, под зонтиками, в фетровых шляпах; за ними их слуги несли стулья. Я стал просить верховного вождя продать мне риса для моих людей. Худой, энергичный, горбоносый, он, казалось, не обращал на мои слова внимания. Он отошел, чтобы перемолвиться словом с местными вождями, потом вернулся и заявил, что я могу получить рис по четыре шиллинга за корзину. Я сказал, что это слишком дорого, но он уже опять исчез. Голова его была занята государственными делами, у него едва хватило времени на то, чтобы снизить цену до трех шиллингов, и прежде чем я успел предложить ему два с половиной, он ушел в дом совета. Но вот затрубил рожок, и полковник Дэвис в сопровождении комиссаров проследовал на совещание.

Даже издали в диктаторе Гран-Басы было нечто привлекательное. Чувствовалось, что это личность. Держался он прямо, по-военному, с каким-то шиком, одет был в превосходный костюм для тропиков, с шелковым платком в грудном кармашке. Он носил остроконечную бородку, и отсюда не видны были его золотые зубы, несколько портившие ему рот. Он напомнил мне конрадовского мистера Д. К. Бланта, который с гордым простодушием заявлял в кабачках Марселя: «Я живу моей шпагой». Полковник заметил наш приход, и вскоре появился болезненный окружной комиссар. Он заявил, что уполномоченный президента желает проверить наши паспорта.

Наши документы проверялись в Либерии впервые. Проворовавшемуся банкиру, которому, по моему разумению, следовало бы поселиться в глубине Либерии, вдали от полицейского ока, и ездить развлекаться во Французскую Гвинею (она вполне заменит ему курорты Нормандии и не потребует никакой волокиты с документами), следует всячески избегать Тапи-Та. Ибо тут, в Тапи-Та, в загородке окружного комиссара есть даже тюрьма, и хотя диктатор Гран-Басы удовлетворился нашими паспортами, несмотря на то что они не давали права следовать по Центральной Либерии, банкиру могло бы повеселиться меньше.

А тюрьма, стоявшая рядом с нашим домиком, ее соломенная кровля над выбеленными стенами и крошечными окошечками, создавала ощущение темноты, духоты и ка-

кой-то бессмысленной жестокости (старший тюремщик был слабоумный калека). Каждое окошечко, величиной с человеческую голову, означало отдельную камеру. Заключенные — мужчины и женщины — были привязаны веревками к прутьям, крест-накрест набитым на окна. Двоих или троих мужчин по утрам выгоняли на работу, две костлявые старухи носили заключенным пищу и воду, и тогда их веревки были обернуты у них вокруг пояса; лишь одному старику разрешалось лежать на циновке снаружи, его привязывали к столбу, подпирающему крышу. У входа в тюрьму, напоминавшего темный лаз в пещеру, где не было уже и следа побелки, весь день валялись тюремщики; они кричали, ссорились и время от времени кидались, размахивая дубинкой, в одну из крошечных камер. Старик заключенный был полоумный; я видел, как тюремщик бьет его дубинкой, подгоняя к жестяному тазу, где тому полагалось умыться, но старик будто и не чувствовал ударов. Жизнь для него ограничивалась немногими очень простыми и очень неясными ощущениями: ощущением солнечного тепла, когда он лежал на своей циновке, и холода в камере, потому что ночью в Тапи-Та очень холодно. Одна из старух сидела в тюрьме уже месяц, ожидая суда. Ее обвиняли в том, что она вызвала молнию на свою деревню; с каким жалким бессилием проходила она каждодневно свой крестный путь, спотыкаясь под тяжестью воды, которую носила из источника в полумиле от тюрьмы! Если она умела вызывать молнию, почему же она не подожгла тюрьму или не сразила медлившего выпустить ее комиссара? Очень может быть, что она и в самом деле вызывала молнии (я не мог не верить в эти рассказы; их подтверждало слишком много свидетелей), но колдовская сила, наверное, покинула ее в заключении, или у нее просто не было необходимых средств для ворожбы. Я спросил квартирмейстера, когда ее будут судить, но он не мог мне ничего ответить.

Заседание в доме совета старейшин продолжалось до пяти; народу там было набито битком, и жара, наверно, стояла невыносимая. Я подозревал, что целью всего этого расследования было утихомирить вождей, а не осудить комиссаров: судья приходился главному обвиняемому двоюродным братом. Но во всяком случае судье этому нельзя было отказать в терпении и выносливости.

Под вечер мы наблюдали церемонию спуска национального флага; она происходила весьма торжественно: два горниста проиграли несколько тактов государственного гимна, и все стоявшие на веранде вытянулись. Когда церемония окончилась, я послал записку полковнику Дэвису с просьбой меня принять и получил ответ, что полковник совершенно обессилен после девятичасового совещания, но все же постарается уделить мне несколько минут.

«Несколько минут» превратились в несколько часов, потому что полковник был разговорчив, и, проболтав больше часа у него на веранде, мы перешли на мою и стали пить виски. Он был когда-то рядовым американской армии, и его биография, если бы ее написать правдиво, стала бы одним из самых увлекательных авантюрных романов на свете. Рядовым или санитаром негритянского полка (я уже забыл подробности) он служил в армии генерала Першинга во время его злосчастного мексиканского похода, когда сотни людей погибли в пустыне от жажды; позже он служил на Филиппинах и, наконец, не знаю почему, покинул Америку и приехал в Монровию. Очень скоро его назначили офицером медицинской службы, хотя я не думаю, чтобы у него было какое-нибудь медицинское образование, а потом он стал делать политическую карьеру. При президенте Кинге его назначили командующим пограничными войсками в чине полковника, но когда Кинг вынужден был уйти в отставку после расследования, проведенного Лигой наций, Дэвису удалось переметнуться к Барклею. Любая ситуация приобретала в передаче полковника Дэвиса острый драматизм; он рассказал неприглядную историю о том, как Кинг участвовал в принудительной отправке рабочих на Фернандо-По *, а потом трусливо признал обвинения Лиги наций (что угрожало независимости Либерии) и подал в отставку, когда законодательные органы постановили отдать его под суд; в устах рассказчика эта история превратилась в увлекательную мелодраму, в которой сам полковник Дэвис играл героическую роль.

— Они жаждали его крови! — патетически воскликнул полковник.

* Остров в Гвинейском заливе. Входит административно в состав Испанской Гвинеи.

Однако, сколько я потом ни присматривался к либерийцам на Берегу, я так и не мог поверить, чтобы у них хватило духу пить кровь кого бы то ни было; наглотавшись тростниковой водки, они способны пробудить в себе ораторский пыл, но пойти на убийство?..

Полковник понизил голос:

— Целые сутки я не отходил от мистера Кинга ни на шаг. Толпы народа бродили по улицам, требуя его крови. Но все говорили: «Мы не можем убить Кинга, не убив Дэвиса!» — Полковник презрительно сверкнул в мою сторону золотыми зубами. — Ну, и конечно...

— Да, конечно, — подтвердил я.

Расспрашивая полковника о других его воинских подвигах, я старался навести разговор на восстание кру. Мне казалось, что эту тему он постесняется затронуть, но я переоценил стеснительность полковника. Когда я выразил свое восхищение той ловкостью, с какой ему удалось разоружить восставшие племена, он радостно подхватил мои слова. Насколько я мог понять, операция удалась благодаря стакану овальтина *, а не ружьям или пулеметам, ибо полковник незлобивый человек, он и мухи не обидит. Одно из племен послало вооруженных воинов, чтобы устроить ему засаду, но он узнал об этом через своих шпионов, пошел по другой тропинке и нагрянул в поселок, когда там никого не было, кроме женщин и стариков. Если верить донесениям британского консула, полковник Дэвис поджег поселок, в то время как его солдаты насильовали женщин; но, оказывается, ничего подобного не было; он вызвал старейшину, усадил его, дал ему стакан овальтина (при этом полковник, кинув мимолетный взгляд на веранду напротив, где на моем столе стояли бутылка виски и стаканы, заметил: «Я всегда выпиваю стакан овальтина после дневного похода»), подружился с ним и уговорил его послать приказ своим воинам вернуться с миром.

— Мне, конечно, пришлось ему намекнуть, — сказал полковник, — что и он и другие старики должны побыть у меня в гостях, пока оружие не будет сдано...

Я никак не мог понять, что он собой представляет на самом деле. Полковник явно был человеком ловким; об этом свидетельствовало то, как он сумел разоружить

* Освежающий напиток.

воинственные племена; кроме хвастовства, он обладал еще и отвагой, что показывала история восстания кру. Мне о ней говорил не только он сам; факты не мог скрыть даже враждебный доклад британского консула. Полковник с вооруженной охраной прибыл во владения вождя Нимли, как чрезвычайный уполномоченный президента, для того, чтобы собрать недоимки. Он отлично знал, с кем имеет дело и какой опасности подвергается, соглашаясь встретиться с Нимли в его деревне. Было решено, что ни тот, ни другой не приведут с собой вооруженных людей, но когда Дэвис со своим письмоводителем пришли в дом совета старейшин, они увидели, что Нимли и другие предводители племен вооружены до зубов. Но даже тогда, по словам полковника, все могло бы сойти благополучно, если бы командующий пограничными войсками майор Грант не отправился на прогулку вокруг деревни. Он ворвался в хижину и прервал переговоры, крича, что у Нимли в банановых зарослях спрятаны вооруженные люди. Дэвис приказал ему не двигаться с места, но Грант крикнул, что отвечает перед президентом за безопасность Дэвиса, выбежал из хижины и стал сзывать своих солдат.

Дэвис потом решил, что Грант был подкуплен вождями мятежников: его поступок сразу же поставил под угрозу жизнь Дэвиса. Нимли вышел из хижины, а его воины окружили полковника. Понятно, он разукрасил мне всю эту историю как мог. Опираясь на барьер веранды и поглядывая одним глазом на виски, он рассказывал:

— Я говорю своему письмоводителю: «Возьми бумаги. Тебя не тронут. Иди как можно медленнее к нашим и скажи солдатам, чтобы они сюда не ходили». Сам я прислонился спиной к стене, а они потрясают копьями прямо у меня перед носом. Письмоводитель говорит: «Полковник, я вас не оставляю. Я умру вместе с вами». А я ему отвечаю: «Какой в этом толк? Выполняй приказ!»

Но как ни странно, факты подтверждают этот рассказ. Полковник был в руках у врагов и сумел спастись. Дэвис говорит, что, когда письмоводитель ушел, он медленно двинулся к выходу. Воины размахивали копьями, словно намеревались их в него вонзить, но никто не решался ударить первым. Тут появился какой-то старик с длинным посохом, заставил воинов отступить и провел Дэвиса через деревню.

— Потом Нимли убил этого старика.

Из дома на веранду вышел повар полковника и объявил, что обед подан, но Дэвису не хотелось со мной расставаться: он нашел слушателя для рассказа, который, наверно, давно уже приелся всем на Берегу.

— В тот вечер я сидел у себя на веранде, вот так, как сейчас: было десять часов, и там, где стоит теперь часовая, появился высокий воин в полной боевой раскраске, с колокольчиками у колен. Он подошел ко мне и сказал: «Кто здесь у вас самый главный?» Я говорю: «Думаю, что главнее меня нет никого. Что тебе нужно?» А он говорит: «Вождь Нимли послал меня предупредить что он придет в пять часов утра, чтобы вернуть себе собранные тобой недоимки». «Ну и что ж,— сказал я,— скажи вождю Нимли, что я буду его ждать». А в одиннадцать часов я увидел еще одного воина, маленького человечка, тоже в боевой раскраске с головы до пят. Он подошел к веранде и говорит: «Ты здесь самый главный?» — «Да, вроде того. Думаю, что никого главнее меня тут не сыщешь. Что тебе надо?» Он отвечает: «Вождь Нимли послал меня тебе сказать, что в пять часов утра он придет поглядеть, кто из вас настоящий мужчина». А в полночь я увидел негритенка в форме бойскаута, но тоже в полной боевой раскраске. Он подошел к веранде и говорит: «Где главный?» А я в ответ: «Ты бойскаут?» — «Да»,— говорит. «Кто у нас в стране руководит бойскаутами?» — «Полковник Элвуд Дэвис». — «А где сейчас полковник Дэвис?» — «В Монровии». — «Нет,— говорю я ему,— полковник Дэвис — это я. Как ты смеешь показываться перед своим руководителем в размалеванном виде?» Ну тут он, конечно, немножко смутился и говорит: Это вождь Нимли меня сюда послал.— «Ступай к своему вождю Нимли и скажи ему, что я не разрешаю бойскауту исполнять такие поручения».

На этом рассказ заканчивался. Я спросил:

— А вождь Нимли в конце концов пришел?

— Конечно, нет,— сказал полковник Дэвис.— Он только вызвал молнию. Но в моем лагере было много людей из племени бузи, а все они члены общества Молнии; они разложили свои талисманы, молния ударила в деревья на берегу и никому не причинила вреда.

На веранде снова показался повар полковника и ска-

зал, что обед стынет. Дэвис на него накричал — он не умел ладить со слугами.

Мы перешли на мою веранду, полковник принялся за виски и рассказал нам во всех подробностях историю своего первого брака: он женился на трезвеннице, но хитростью излечил ее от этого порока. Повар время от времени выскакивал на веранду, как чертик из табакерки, напоминая о еде, но Дэвис упрямо не трогался с места, чтобы показать, кто здесь хозяин.

Назавтра вечером он снова зашел ко мне выпить и почти прикончил мое виски. Ночь была пронизывающе холодная, собиралась гроза; явно надвигалась пора дождей. Просидев часа два, полковник расчувствовался: откинувшись на спинку стула, он смотрел на меня с грустью человека непонятого; трудно было представить себе, что он мог даже присутствовать при каких-нибудь зверствах.

— Как-то раз я плыл на большом пароходе, — сказал полковник, — и после обеда капитан пригласил меня подняться к нему на мостик. Он обронил замечание, которого я не могу забыть. Показывая мне проходившее мимо судно, он сказал, что ему вспоминаются три книги, которые стоят внизу в библиотеке. Одна из них «Корабли проходят ночью мимо». Догадайтесь, как называются две другие?

Мы с братом не могли догадаться.

— Капитан показал на палубу, где гуляли пассажиры: «Смотрите, Дэвис, вот «Люди, которых мы встречаем». Но еще важнее, продолжал он, обращаясь ко мне, «Друзья, которых мы любим».

Я подлил ему виски.

— Какая прекрасная мысль! — сказал он, скромно отвернувшись.

ПАТРИАРХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Наутро я проснулся с сильным насморком, несмотря на то что ночью надел поверх пижамы свитер и укрылся двумя одеялами. За завтраком мне подали письмо от квартирмейстера:

«Дорогой друг, мистер Грин. С добрым утром. Я хочу обратиться к вам с просьбой, которую, на-

деюсь, вы сможете выполнить. Если у вас есть коньяк, пошлите мне немножко, или чего-нибудь еще, если коньяк у вас вышел. Буду вам очень благодарен. Мне сегодня утром, понимаете ли, ужасно холодно, надеюсь вы оба здоровы. Горячо желаю вам хорошего самочувствия.

Ваш друг *Уордсворт*, квартирмейстер.

Сегодня вечером приведу к вам и к вашему двоюродному брату в гости моих сестер. Они очень хотят с вами подружиться».

Я послал ему стаканчик виски и попросил кокосовый орех и немножко пальмового масла, оно требовалось повару вместо сала. Вскоре мне принесли кокосовый орех, бутылку пальмового масла и записочку, которая гласила:

«Дорогой друг. Большущее спасибо за ваше любезное угощение, я вам очень за него признателен. Буду неизменно считать вас своим другом...»

Кругом стояла тишина: было воскресенье, и тяжело-весный покой патриархальной Англии разлился над Тапи-Та. Даже деревенские пляски и те были запрещены. Заключенных погнали мыться, связав их попарно веревками, а из патефона, стоявшего в домике, где оставились два окружных комиссара, по всему раскаленному пустому двору разносились звуки духовных песнопений: «Внимай, глашатаи небес поют», «Я ближе, господь мой, к тебе». Но потом их сменила танцевальная музыка и развязные американские песенки. Я вышел размять ноги, мне нездоровилось и было тоскливо; Берег казался мне по-прежнему недосыгаемо далеким. Какое безумие слоняться здесь, в самом сердце Либерии, когда все, что мне дорого и знакомо, находится в Европе. Жизнь стала похожа на дурной сон. Я не мог вспомнить, зачем меня сюда занесло. Мне хотелось бежать отсюда не теряя ни минуты, но не было сил, да и слова доктора Харли, предостерегавшего от ходьбы пешком по Западной Африке, меня пугали. Мне *надо* было отдохнуть несколько дней, и не только мне, но и моим людям. Марк устал до полусмерти, и даже Амеду и Ламина совсем издергались. Я старался утешить себя мыслью о том, что до Гран-Басы всего шесть дней пути, и, если верить полковнику Дэвису, нам придется торчать в этом убогом

порту не больше недели, дожидаясь прихода какого-нибудь судна.

Когда я принимал ванну, готовясь проспать самую жаркую часть дня, появился квартирмейстер. Он хотел купить бутылку виски для своего брата, и брат дал на это пять шиллингов. Я сказал, что виски у меня не осталось, или, вернее, осталось в обрез — только-только дотянуть до Берега. Но когда мои часы показывали половину третьего и я едва успел заснуть, он явился снова с запиской от окружного комиссара, приглашавшего меня к двум часам обедать. И хотя я уже плотно поел, я все же пошел, захватив с собой полбутылки сильно разбавленного виски.

Общество мне напомнило одно из тех странных, грубоватых семейных сборищ, которые любил описывать Сэмюэль Батлер *. Казалось, время вернулось вспять лет на шестьдесят и я попал на один из воскресных званных обедов времен королевы Виктории. Единственное, чего не доставало за столом, — это хозяйки дома: она помогала подавать еду. На хозяйском месте сидел папаша — желтолицый Уордсворт с густыми бакенбардами, одетый в тяжелый темный воскресный костюм; его живот украшала золотая цепочка от часов с золотой печаткой. На стенах висели выцветшие семейные фотографии викторианской поры (баки, турнюры и зонтики) в дешевых четырехугольных рамках. Все, кроме меня и полковника Дэвиса, сидевшего на противоположном конце стола и резавшего гуся, были одеты по-праздничному — и тощий старый негр, болтавшийся в своем пиджаке, как сухой орех в скорлупе (он был членом выездной судебной комиссии), и черный комиссар из Гран-Басы, и еще один комиссар, робевший перед полковником Дэвисом; он-то, как я подозреваю, и заводил пластинки с духовными псалмами. А комиссар из Гран-Басы явно предпочитал скабрзные песенки.

Беседа не клеилась, говорили о погоде, о нечистой силе и гайных обществах, передавали местные сплетни. Полковник Дэвис непоколебимо верил в силу общества Молнии. Он бывал в поселках, где члены этого общества показывали чудеса в его честь. Они говорили, что в такой-то час ударит молния, и точно: в назначенный час

* Английский писатель прошлого столетия.

в безоблачном небе вдоль всей цепи холмов на целые мили вокруг начинали сверкать молнии. Судья Пейдж дополнил этот рассказ, перечислив несколько своих судебных приговоров преступникам, вызывавшим на землю молнии, но тут полковник Дэвис пожелал перевести разговор на великосветскую тему — он заговорил о еде. Он путешествовал по Европе с президентом Кингом и отлично помнил, как они ели икру.

Полковник Дэвис объяснял недоумевающим черным:

— Икра — это черные яички маленьких рыбок. — Он обратился ко мне: — Теперь вы в Англии, конечно, уже не получаете русских папирос?

Я сказал, что точно не знаю, но, кажется, видел их в табачных лавках.

— Ненастоящие, — заявил полковник Дэвис. — Те — вещь редкая. Года два назад их в Монровии подавали как отдельное блюдо на званых обедах.

— Когда же его подавали? — спросил я.

— После рыбы, перед салатом, — ответил полковник, а комиссар из Гран-Басы, перегнувшись через стол, ловил каждое слово о роскошной жизни столичной знати. — В зале воцарялся полумрак, — тут полковник сделал выразительную паузу, — и каждому гостю подавали по одной папиросе.

Судья утвердительно кивнул: он и сам был из Монровии.

Помню, я сказал полковнику Дэвису, как меня удивляет, что я не вижу здесь ни единого москита. Да, он тоже не видел ни одного москита с прошлых дождей; он немножко страдает от палящей жары, но, ей-богу же, Либерия самое здоровое место в Африке.

У него была явная склонность к преувеличениям. Он, например, заявил, что в Либерии никогда не было желтой лихорадки; управляющий английским банком, который умер от нее в Монровии (его смерть была одной из причин, по которым Западноафриканский банк закрыл свое отделение в Либерии), завез эту заразу из Лагоса. Причина всех остальных смертных случаев — это прививки. В Либерии реже болеют малярией, продолжал он, чем в каком-либо другом месте на западном Берегу; «Вы ведь и сами заметили, — сказал полковник, — что здесь нет москитов». Но судьба сыграла с Дэвисом злую шутку: когда наступил вечер и мы его ждали, чтобы

выпить вместе по стаканчику виски, квартирмейстер сообщил нам, что полковник слег в тяжелом приступе лихорадки.

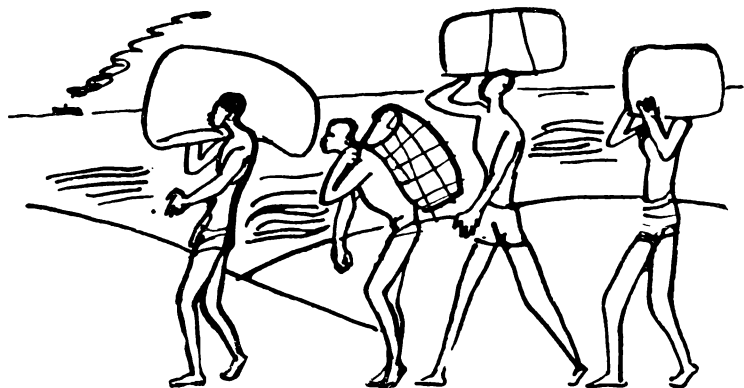
И поэтому в наш последний вечер в Тапи-Та нас развлекал квартирмейстер; он сидел напротив с мечтательным видом, и его большие блестящие тюленьи глаза настойчиво молили нас о дружбе. По его словам, он сразу же почувствовал ко мне симпатию, когда встретил нас на тропинке возле Ганты; он тогда же понял, что мы будем друзьями. Он будет писать мне, а я должен писать ему. В Тапи-Та очень скучно, он привык к столичной жизни; в Монровии весело, там танцуют и сидят в кафе на пляже. Когда мы туда попадем, сезон уже кончится, но все равно там будет весело, столько всяких развлечений, танцы при лунном свете... Его странные сияющие глаза романтика смотрели на меня не отрываясь. Сердце его было переполнено любовью, дружбой, танцами и лунным светом.

— Вы пришли из страны племени бузи,— продолжал он.— У них там замечательные талисманы. Есть даже превосходное средство от венерических болезней. Надо обвязать веревку вокруг пояса. Я-то, правда, никогда этого не пробовал.— И он добавил очень грустно: — Вас, белых, наверно, никогда не мучат венерические болезни.

Он долго печалился по поводу нашего отъезда. Жаль, что он не может пойти с нами, но он навсегда останется мне другом. Он очень хочет получать от меня письма. Ночью, когда я выходил в лес, он поймал меня у ворот.

— Надеюсь,— сказал он,— вы не будете на меня в претензии за непрошенное вмешательство, но позади дома полковника есть хорошая уборная с деревянным сиденьем. Для вас это куда удобнее, чем ходить в чащу.

Однако я помнил, что он еще не испробовал превосходного средства племени бузи, и твердыми шагами пошел дальше в лес. На следующее утро он встал чуть свет, чтобы нас проводить, и последнее мое впечатление от Тапи-Та — его влажное, романтическое рукопожатие на сером от пыли пустынном дворе резиденции.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП

ПРИСТУП ЛИХОРАДКИ

Я никак не предполагал, что Гран-Баса когда-нибудь станет для меня идеальным местом отдыха. Но сейчас она казалась мне землей обетованной. Ведь там я встречу хотя бы еще одного белого; перед глазами у меня раскинется море вместо леса; может быть, там найдется и пиво. Пока я снова не пустился в путь, я не отдавал себе отчета в том, как я измучен дорогой. На меня уже не действовали лошадиные дозы английской соли; раньше я принимал по ложечке утром и вечером с горячим чаем, но сейчас я с тем же успехом мог бы глотать сахар. Я чувствовал себя усталым, изнуренным, еще не сделав ни шагу, а у меня не было даже гамака, в который я мог бы забраться. В Ганте нам сказали, что мы дойдем от Тапи-Та до Гран-Басы за шесть дней, но в Тапи-Та объяснили, что путешествие отнимет у нас не меньше недели, а вернее — и все десять дней. Я уже

больше не мог исчислять время такими большими сроками, даже четыре дня казались мне вечностью. Пока нельзя будет сказать «завтра», я не поверю, что мы и в самом деле приближаемся к Берегу. Голова моя так же устала, как и тело. На мне лежала вся ответственность за путешествие, выбор дороги, забота о людях, а мысли отказывались повиноваться. Я попросту не мог представить себе, что мы когда-нибудь доберемся до Гран-Басы, что я когда-то вел совсем иную жизнь, чем теперь.

Мне было трудно дойти до нашего следующего привала — Зиеншу. От Тапи-Та до этого поселка было почти девять часов ходьбы, все время вниз, в сырую, душную жару, а первые несколько миль нужно было пробираться по затопленным местам, по пояс в воде. Проводник, которого дал нам комиссар из Гран-Басы, наказав ему доставить нас до дверей лавки компании П. З. на Берегу, оказался никуда не годным с самого начала. Этот парень в рваном синем мундире, с ружьем за плечами, которое не выстрелило бы даже в том случае, если бы у его владельца были патроны, нес все свои пожитки в жестяном ведре и отстал от нас в первой же деревне. Его звали Томми, и в нем была своя нагловатая мальчишеская прелесть. Дорогу он знал, но отнюдь не желал идти с той скоростью, с какой шли мы. По утрам он начинал переход довольно быстро, но уже через полчаса отбегал в сторонку, в лес, и догонял нас не раньше, чем мы делали полуденный привал. К этому времени он уже был немножко пьян. Благодаря тому что на нем был мундир, он мог ограбить любую деревню по дороге, разжившись там пальмовым вином, фруктами и овощами.

Я ничего не помню о переходе до Зиеншу и очень немного о днях, которые за этим последовали. Я так обессилел, что не мог записать в дневнике больше нескольких строк; надеюсь, мне никогда не придется так устывать. У меня сохранилось смутное воспоминание о чаще, которой нет конца, о редких холмах, поднимающихся над лесом; взобравшись на такой холм, мы видим со всех сторон покатые громады лесов, тянущиеся до самого моря. У Зиеншу сбегал по кособору ручей, и в нем плавали какие-то удивительно английские утки. Помню, я захотел присесть, но тут же был вынужден вступить в переговоры с вождем поселка относительно пищи для но-

сильщиков; уселся снова, но сразу же встал опять, чтобы дать трехпенсовую монетку повару, покупавшему курицу; опять попытался сесть, но был поднят для того, чтобы перевязать болячку одному из носильщиков. Больше я не мог этого вынести: проглотив две столовые ложки английской соли с чашкой крепкого чая (сгущенное молоко кончилось у нас уже давно), я предоставил вести все остальные дела двоюродному брату. У меня поднялась температура. Растворив двадцать гран хинина в стаканчике виски, я выпил, разделся, завернулся в одеяло под москитной сеткой и пытался заснуть.

Началась гроза. Это была уже третья гроза за последние дни; если мы хотели добраться до побережья, нельзя было мешкать. Я лежал в темноте, и меня обуравал страх, какого я не испытывал еще никогда в жизни. Крыс тут, правда, не было, но когда я выполз из-под одеяла, чтобы вытереть пот, я поймал у себя между пальцами на ноге тропическую блоху. Пот с меня лил ручьем, как во время гриппа. Рядом с кроватью на перевернутом ящике тускло горел фонарь; подле него стояли бутылки из-под виски с теплой фильтрованной водой. Я вспоминал Ван-Гога, которого сжигала лихорадка в Болахуне. Он говорил, что после приступа надо вылежать хотя бы неделю — малярия неопасна, если лежишь столько, сколько надо; но я не мог примириться с мыслью, что пробуду здесь целую неделю, что пройдет еще семь дней, прежде чем я попаду в Гран-Басу. Есть у меня малярия или нет, завтра я должен встать и двинуться дальше; и это меня пугало.

Жар не дал мне спать, но к утру я пропотел, и температура упала. Теперь она была гораздо ниже нормальной, зато я избавился хотя бы на время от самого худшего испытания, какое мне пришлось изведать за время нашего похода. Ночью я сделал очень интересное открытие — я обнаружил в себе страстное желание жить.

НА ГРАНИ ДИВИЛИЗАЦИИ

Считается, что от Зиеншу до Баса-Таун — первого поселения на территории племени баса — семь часов ходу. Я сомневался, смогу ли сделать этот переход со-

всем без помощи гамака, и потому нанял еще двух носильщиков, а мои люди вырубили новый шест, взамен того, который я бросил в дороге. Я был очень слаб, но людей не хватало, и нести меня всю дорогу было некому, поэтому я провел первые два часа на ногах, десять минут отдохнул в гамаке, а потом пошел снова. Я не любил, чтобы меня носили. Гамак, рассчитанный на двух носильщиков, непомерно тяжел, а наши люди и так устали от долгого пути. Лежа в гамаке, слышишь, как веревки со скрежетом трутся о шест, и видишь, как напрыгается под твоей тяжестью спина носильщика. Люди становятся слишком похожи на вьючный скот, а я не мог на это смотреть спокойно.

В деревнях, которые мы проходили, было безлюдно, мы встретили всего несколько женщин. Где-то в чаще убили слона — думаю, что отравленными дротиками, которыми охотники в здешних местах стреляют из старинных самострелов, — и все мужчины собрались туда, чтобы его освежевать. К великому нашему удивлению, мы дошли до Баса-Таун меньше чем за четыре часа. Я был этому рад, однако Берег, как нам казалось, был от нас теперь еще дальше, чем прежде. Мы вышли из Тапи-Та два дня назад, а молодой чернокожий помощник комиссара, которого мы здесь встретили, заверил нас, будто отсюда до Гран-Басы еще семь дней пути. Он был единственным мужчиной в этой деревне, состоявшей из квадратных приземистых хижин; все остальные отправились за слонем, и я немножко побаивался, не позволят ли себе чего-нибудь мои носильщики в поселке, где остались одни женщины.

Но долго раздумывать об этом я не мог. Наскоро пообедав, я лег в постель и укутался одеялами — приступ лихорадки повторился, и я обливался потом. Хижины были такие низкие, что в них нельзя было выпрямиться во весь рост, а вместо крыс тут бегало множество больших пауков. У меня едва хватило сил, чтобы уныло записать в дневнике: «Последняя банка сухарей, последняя банка масла, последний кусок хлеба». Трудно поверить, как мы стали ценить эти лакомства: нам с двоюродным братом досталось по десяти сухарей, мы их поделили, не вынимая из банки, и каждый установил, сколько ему разрешается съесть в день; масло уже прогоркло, и его пришлось отдать повару.

Мне бросился в глаза первый признак того, что мы приближаемся к цивилизации, которая наступает на эту глушь с побережья. Молодая девушка вертелась возле нас весь день, зазывно, как заправская проститутка, показывая бедрами. Обнаженная до пояса, она сознавала свою наготу, понимала, что белый человек глядит на женскую грудь не так, как ее соплеменники. Несомненно, она уже встречала белых. Были и другие признаки: стало меньше еды и подорожал рис. Ближе к Гран-Басе цены будут еще выше, сообщил помощник комиссара. Он советовал мне купить здесь корзины две риса и сэкономить таким образом по шести пенсов на каждой корзине. Местная математика наука несовершенная, и Ламина никак не мог понять, почему я отказался от такой выгодной сделки и не сберег шиллинг, хотя мне для этого пришлось бы нанять двух лишних людей, которые бы несли этот рис.

В тот день мы сделали последний короткий переход на пути к Берегу. Никто уже больше не говорил «слишком далеко»: носильщикам не терпелось, как и мне, поскорее выбраться из зарослей и увидеть море, а что касается моих бедных слуг, они вконец измучились. Нервы у них были натянуты до предела, и как-то вечером Амеду и старшина носильщиков подрались в моем присутствии из-за тарелки мясных обрезков. Мы вышли из Баса-Таун двадцать седьмого февраля, а начали свое путешествие третьего февраля. Через восемь часов мы достигли Гьона, но до Гран-Басы от этого не стало сколько-нибудь ближе. По слухам, нам по-прежнему оставалась еще неделя пути. Мне все так же не верилось, что мы когда-нибудь туда дойдем. После Баса-Таун лихорадка меня больше не донимала, но температура оставалась гораздо ниже нормальной.

Мы с братом никогда еще не чувствовали такого упадка сил, как в эти два дня. Нам приходилось все время следить за собой, чтобы не поругаться. Мы виделись не больше чем час или два перед сном, но и в это время трудно было избежать столкновений по вопросам, на которые мы смотрели по-разному. А число таких вопросов все увеличивалось, и они касались чуть не всего на свете. Сперва мы успешно избегали разговоров о политике, и этого было достаточно, но теперь мы могли поссориться из-за того, что плохо заварен чай. Оставался единственный выход — молчать, но один из нас всегда

мог принять молчание другого за нежелание разговаривать. Мои нервы были в худшем состоянии, и надо отдать должное брату — только благодаря ему наше взаимное раздражение не вылилось в открытую ссору.

Гьон оказался безлюдным, негостеприимным поселком; квадратные хижины из красновато-коричневой глины были кое-как побелены снаружи. По какой-то странной ассоциации они мне напомнили меченые дома в чумном Лондоне времен Стюартов, и мой усталый мозг неизвестно почему внушил мне, что эта деревня — очаг заразы. Полное истощение довело меня до того, что разум уже не мог отделить вымысла от реальности. Деревня опустела лишь потому, что все мужчины были заняты на полевых работах, кроме советника вождя, который не желал нам ничем помочь, но по сей день мне трудно уверить себя, что поселок не был опустошен каким-нибудь мором.

Нам пришлось просидеть на ящиках больше трех часов, пока не вернулись мужчины и мы не нашли себе приют. Для слуг же мы не нашли ничего; им пришлось ночевать в открытой кухне возле очага; спали они мало, боясь диких зверей, особенно слонов и леопардов. Мы шли по стране леопардов; на всех дорогах, которые вели в Тапи-Та, были установлены ловушки — деревянные клетки с опускающей дверью и противовесом из связки раковин; в клетку сажали живого козленка.

Виски оставалось так мало, что мы уже не могли пить по вечерам; из последней полбутылки мы наливали по ложечке в чай. Пока мы ужинали, носильщики устроили нечто вроде судилища, в котором Амеду изображал судью. Они уселись перед ним в два ряда, и свидетели с жестами и пафосом опытных ораторов поочередно давали показания. В восемь часов, когда я пошел спать, суд еще продолжался, и Марк рассказал на следующий день, что разбирательство окончилось только около двенадцати.

Я так и не узнал толком, в чем было дело. Рано утром Колиева, который сначала вместе с Бабу был моим любимым носильщиком, подошел ко мне в кухне, где я ждал завтрака, раздумывая, выдержу ли еще один длинный переход (ботинки мои износились, подошвы стерлись так, что стали тоньше папиросной бумаги, а потом просто исчезли; у меня оставалась только пара спортив-

ных туфель на белом каучуке). Я не мог понять, что он мне говорит; остальные носильщики сгрудились вокруг, было ясно, что все это должно изображать заседание кассационного суда. Амеду принялся мне что-то объяснять, но я не уверен, что правильно его понял.

Один из носильщиков по имени Буккаи забыл на дневном привале какую-то свою вещь. Ее взял Фадаи — худой, изможденный парень с красивыми глазами, страдавший венерической болезнью; он называл себя английским подданным, потому что родился в Сьерра-Леоне. Когда Буккаи обвинил Фадаи в воровстве и пригрозил ему, что пожалуется, Фадаи был готов тут же вернуть украденное (если не ошибаюсь, это были иголка и нитки), но Колиева увел его к ручью за деревней и стал вымогать у него деньги, обещая выступить свидетелем в его пользу. Состоялся суд, но Колиева смолчал, и тогда Фадаи рассказал все начистоту. Обвиняемым стал Колиева, ибо лжесвидетельство, с точки зрения негров, куда больший грех, чем воровство. Его признали виновным, и Амеду присудил его к штрафу в четыре шиллинга — это очень большая сумма, равная жалованью почти за десять дней. Так как я не был уверен, что понял суть дела, но знал, что на Амеду можно положиться, и видел, что приговор встретил всеобщее одобрение, я изрек: «Согласен» и, боясь, как бы Колиева не стал оспаривать мое решение, произнес глупейшую формулу, которая всегда спасает власть имущих: «Прекратить разговоры!» Сначала Колиева заявил, что не пойдет дальше, и требовал расчета, но мысль о том, что ему придется проделать долгий путь в одиночку, среди чужих племен, его смирила.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ ИЗ ДАРНДО

В тот день мы опять сделали большой переход — он длился около восьми часов. Проводник сбежал в первой же деревне; я болезненно ощущал каждый корень и каждый камешек сквозь тонкую подошву моих спортивных туфель. Носильщики, которые сами к нам напросились в Баса-Таун, бросили нас на полпути, и я больше совсем не мог пользоваться гамаком. Люди из племени баса любят наобещать, а потом обмануть. Во мне развилась острая неприязнь даже к внешности людей из

этого племени: к их рослому, упитанному телу, круглой голове, томному женственному взгляду. Берег их развратил, превратил в лжецов, жуликов, лентяев, безвольных и совсем ненадежных людей. Но правящий класс в Либерии черпает новых членов из племени баса, да еще из племени ваи, чьи земли тоже соприкасаются с растленным приморским краем. В ответ на обвинение в том, что коренные жители не участвуют в управлении страной, американо-либерийцы кивают на людей из племен баса и ваи, работающих в государственных учреждениях, комиссарами и чиновниками*.

Следующая деревня, в которой мы остановились, называлась как-то вроде Дарндо, на картах она не помечена. Я вошел в нее с двумя носильщиками, namного обогнав остальных.

В маленькой четырехугольной хижине, украшенной либерийским флагом, сидели несколько пожилых негров и мулат. Желтолицый мулат был одет в грязную пижаму, во рту у него торчало несколько гнилых зубов, один глаз был стеклянный; подобного уродя я в Либерии еще не встречал, но я не знаю там человека, к которому по сей день испытывал бы такое чувство признательности. Он подал мне стул, принес свежие фрукты, которых я не видел уже несколько недель — большие горьковатые апельсины и лимоны; он устроил меня в хижине на ночлег и ничего не попросил взамен.

Это была нелепая, но героическая личность. Он мне сказал:

— Вы, конечно, миссионер? — И когда я ответил: «Нет», он вперился в меня своим единственным оком, в то время как другое буравило палящее полуденное небо над грязными хижинами. Он сказал: — Я догадываюсь. Вы — член королевской семьи.

Я спросил его, почему он так думает.

— Ах, — ответил он. — Не спрашивайте. Дело в том, что я тайный агент.

У него кончилась бумага, а достать ее можно только на Берегу, и когда я вырвал ему десяток листиков из записной книжки, он был до нелепости мне признателен.

* Племя ваи гордится тем, что из всех африканских народов у него одного есть письменность, но баса ему подражают, и я нашел листок с записью, воткнутый в крышу моей хижины, по-видимому, в качестве талисмана. — *Прим. автора.*

Я боялся, что слезы вот-вот покатятся из его единственного глаза; он тут же скрылся в своей хижине, чтобы написать отчет о том, как член английской королевской семьи бродит в чащобах Либерийской республики.

Но я не зря назвал его героем. Как и мистер Нельсон, он был сборщиком налогов. Он принадлежал к миру, о котором мечтал мистер Уордсворт — к Берегу с его кафе,— но был заброшен сюда, в эту крошечную деревушку, к людям чужого племени. Как и мистеру Нельсону, ему ничего не платили, приходилось жить на то, что давали местные жители, но в противоположность мистеру Нельсону, он давал им кое-что взамен. Они верили ему, и он защищал их как мог, со всей энергией, которая еще жила в его иссушенном лихорадкой теле, он спасал их от вымогательств курьеров в мундирах, сновавших взад и вперед между Тапи-Та и Берегом. Для этого требовалось мужество и такт.

Его доброта явно спасла нас с двоюродным братом в тот день: не будь его, мы бы окончательно свалились; к тому же он нам сообщил, что в двенадцати милях от Гран-Басы находится городок Гарлингсвилл, куда ведет автомобильная дорога, а у одной голландской фирмы в порту есть грузовик, который можно вызвать, что сократит нам целый день пути. Когда стемнело, снова разразилась гроза, прокатившаяся громом по холмам в сторону Тапи-Та. Какой-то несчастный приполз в мою хижину по кофейным зернам, рассыпанным в пыли для просушки. Он спросил, не доктор ли я; ответив отрицательно, я сказал, что у меня есть кое-какие лекарства, но когда выяснилось, что он болен гонорреей, мне пришлось признаться, что никакие средства из моей аптечки ему не помогут. Это до него дошло не сразу. Присутствие белого человека внушило ему надежду на выздоровление; он так и остался стоять, ожидая, что я дам ему чудодейственный порошок или волшебную мазь; потом, удрученный, он вернулся в свою хижину и стал дожидаться другого чуда.

В этот вечер я не мог ничего есть; я чувствовал себя не только измученным, но и больным; к тому же наш повар Сури вселил в мою душу новый страх: когда он увидел, что я ем апельсины, которые мне дал мулат, он их у меня отнял, заявив, что горькие апельсины есть нельзя, белые люди от них болеют. Тут я вспомнил, что

доктор Харли тоже предупреждал меня в Ганте, чтобы я не ел слишком спелых плодов, и теперь к страху перед лихорадкой добавился еще страх заболеть дизентерией. Я слишком устал и не мог заснуть; раздумывая о своих злключениях, я все прислушивался, как ливень сплошной стеной падает на Дарндо.

Мне казалось, что завтра я не в силах буду ступить и шагу, и потому попросил тайного агента достать мне еще шесть носильщиков. Тогда я смогу все время лежать в гамаке, не утруждая моих людей, которые проделали такой длинный путь. Но утром я почувствовал себя лучше и, не став дожидаться носильщиков, которых должны были привести с поля, удовольствовался всего двумя новыми людьми, один из них был типичный негр из племени баса — высокий, хвастливый, мясистый, со всегдашней их капризной манерой дуться. Сыщик очень им гордился, звал его Самсоном и хвастал его силой, но еще задолго до того как мы дошли до Кинг-Питерс-Тауна, Самсон оказался в самом хвосте, задерживая всю колонну и ворча, что ноша ему не по силам.

Нашей ближайшей целью был Кинг-Питерс-Таун. Гран-Баса по-прежнему маячила где-то в недосыгаемой дали, но во время обеденного привала я вдруг услышал от приветливого деревенского вождя, что она совсем близко и что на грузовике из Гарлингсвилла мы до нее быстро доберемся. Новость эта сразу же дошла до носильщиков и слуг. Мы сидели, радостно ухмыляясь друг другу, и черные, и белые; счастье сблизило нас больше, чем все наше путешествие. На душе стало так легко, что больше не надо было держать себя в узде, можно было не только смеяться, но и спорить и даже ссориться. И вот, к полному восторгу моих носильщиков, я вдруг вылил на опостылевшего всем Томми такой запас непристойной брани, какого я у себя и не подозревал. Забыв об осторожности, я рассказал слугам о грузовике, который непременно достану в Гарлингсвилле, и скоро об этом уже знал каждый носильщик; ни один из них никогда не видел автомобиля, но они поняли, что это двенадцать благословенных миль без ноши, без труда.

До Кинг-Питерс-Тауна было семь с половиной часов ходьбы, а в конце пути нас ждала убогая деревушка, но мы не были так веселы с самого Болахуна. Я нацарапал

карандашом записочку управляющему голландской фирмы, сообщая о нашем приезде и прося его выслать грузовик нам навстречу; меня не смогли расхолодить даже предостережения трех новых носильщиков, которых я нанял на один день, твердивших, что Гарлингсвилл «слишком далеко, слишком далеко», что до него двенадцать часов ходу. Не желая обескураживать моих людей, я сделал вид, что не верю, но тайком все же перевел часы назад, решив, что если туда даже и двенадцать часов ходьбы, мы их пройдем и будем ночевать в Гран-Басе. Гонец воткнул мою записку в расщепленную палку и, налив чуть не последний наш керосин в фонарь, отправился пешком через лес в Гран-Басу, собираясь идти всю ночь. Помню, среди жалких хижин вдруг раздался свисток, и Томми вывел несколько оборванных курьеров в мундирах с такими же нестреляющими ружьями, как и у него самого, к флагштоку в центре деревни. Флаг Либерии поднимался и опускался, а Томми заставлял свой нелепый отряд стоять по команде «смирно». Но его отряд только смеялся над ним, а кто-то даже стащил его свисток, и весь вечер Томми злобно бродил по деревне, разыскивая его.

ГРАН-БАСА

Мы поднялись в четверть пятого, но Томми и новые носильщики нас задержали, и мы не смогли выйти из Кинг-Питерс-Тауна раньше шести. К тому времени на строение мое упало; люди из племени баса настаивали, что до Гарлингсвилла двенадцать часов пути, а до миссии Адвентистов седьмого дня, где они предлагали заночевать,—пять. И все же наш стремительный набег на Либерию был уже почти закончен; правда, лишь много позже, когда прошла физическая усталость от долгих лихорадочных маршей по лесам, я смог разобраться в своих впечатлениях. Мне казалось, что я устал от первобытной жизни, от Африки, но на самом деле меня просто изнурила ходьба, лесная чаща, несовершенное устройство моего собственного мозга. Я ни за что не хотел провести хотя бы еще один день в зарослях, и если понадобилось бы шагать круглые сутки, чтобы выйти из леса,

я был к этому готов. Так как переход обещал быть очень продолжительным, я старался не пользоваться гамаком до последней крайности. Если бы не боязнь, что носильщикам будет слишком тяжело, какое бы это было ни с чем несравненное наслаждение — плавно покачиваться, глядя вверх на синие просветы неба в огромном веере из листьев между стройными серыми стволами, и чувствовать, что не надо больше надрываться, что тебя несут на юг, назад к той жизни, которой, как оказывается, ты очень дорожишь.

К счастью, выяснилось, что люди из племени баса, как всегда, солгали. Наша колонна подошла к миссии через три с половиной часа. Была суббота, и на вершине холма, где стояло несколько белых зданий, звонил колокол, призывая верующих в церковь. По тропе спустился миссионер и повел нас к себе; это был немец, живший здесь с женой и пытавшийся внушить племени баса веру в тысячелетнее царство и священное отличие дня субботного от воскресенья. Они угостили нас самым настоящим немецким имбирным пряником, дали выпить ледяного виноградного сока и, гортанно выговаривая английские слова, беседовали с нами о радиоприемниках. Вкус ледяного напитка во рту означал конец злоключений, и я уже стал вспоминать о Кпангбламаи и Никубузу, как о чем-то безвозвратно ушедшем. До Гран-Басы, по словам миссионера, было всего восемь часов пути, а до Гарлингсвилла — шесть, но когда я упомянул о грузовике, который, как я надеялся, нас там встретит, меня огорчили. В Гран-Басе, как объяснили мне, имеется только одна машина, да и та сломалась несколько месяцев назад; миссионер сильно сомневался, что ее починили. Как я жалел, что сказал моим слугам и носильщикам о грузовике! Мысль о том, что от Гарлингсвилла им нужно будет тащиться еще два часа пешком, беспокоила меня не меньше, чем опасение, что я и сам не выдержу восьмичасового перехода.

Через несколько часов мы окончательно вышли из леса на широкую, заросшую травой дорогу, которая тянулась по долинам и покатым холмам; они, казалось мне, предвещали, что море близко. Мы были в лесу почти без перерыва с того самого дня, как пересекли границу на другом конце Либерии. Расставшись с ним, мы вздохнули свободно. Теперь с вершины любого холма нам мог

открыться Атлантический океан. После обеда нас нагнал Томми, он был пьян и распевал какую-то непонятную песню; носильщики подхватили, шедшие сзади стали вступать один за другим, и песня понеслась над холмами. Я прибодрился: если бы Гарлингсвилл был далеко, наш проводник остался бы позади, чтобы еще по-пьянствовать и пограбить. Со стороны моря на тропе появлялось все больше и больше встречных, и у каждого из них Томми спрашивал, приехал ли в Гарлингсвилл автомобиль, но все отвечали, что никакого автомобиля там нет. Мы миновали недостроенный бетонный мостик, показывавший, куда доходила раньше дорога; та дорога, по которой мы шли теперь, постепенно зарастала и приходила в упадок. Потом появилось несколько убогих домишек, но это уже все-таки были дома, а не хижины — двухэтажные, под железными крышами, правда, без стекол в оконных рамах; у них был вид старомодных курятников, выросших до размеров человеческого жилья. Через окно я увидел группу мулатов, игравших в карты вокруг бутылки с тростниковой водкой. Это напоминало Африку, которую принято изображать в кинофильмах и парижских обозрениях. Порой нам попадались куры, коза, огород. Это была та цивилизация, с которой мы расстались в Фритауне.

А потом, в три часа дня, мы неожиданно вошли в Гарлингсвилл. Там уже были деревянные двухэтажные дома, наружные лестницы, зловоние разогретых на солнце отбросов, почта с вывеской, написанной мелом, женщины и мужчины в брюках и рубашках, а когда тропа свернула в сторону, началась проселочная дорога, и на ней стоял грузовик. Мне хотелось смеяться, кричать, плакать — наконец-то, наконец, я прощусь с самым томительным путешествием, которое когда бы то ни было предпринимал, с самыми худшими страхами, с самой тяжелой усталостью. Не будь я так изнурен (было второе марта, и мы шли уже ровно четыре недели, покрыв около трехсот пятидесяти миль), цивилизация, наверное, не показалась бы мне такой желанной по сравнению с тем, что осталось позади; а позади оставалась полнейшая простота жизни, граничащая с растительным существованием, стайки рисовых трупялов, могилы вождей, тусклое пламя костров на закате, луч фонарика, «дьяволы» и пляски. Но сейчас я готов был принять цивилизацию

целиком — даже железные кровли, вонючий, тряский грузовик, от которого местные жители, возвращавшиеся с базара в Гран-Басе, отшатывались с таким же ужасом, какой испытывали их сородичи на дороге из Кайлахуна, и прятались в канаве, пока чудище со скрежетом не проносилось мимо. Мое путешествие началось и окончилось в грузовике, окутанном облаком бензиновой вони.

Цивилизация на уровне Гран-Басы предоставляла вам, разумеется, еще кое-какие блага: пиво со льда в доме управляющего магазином голландской компании, который вот-вот должен был закрыться из-за отсутствия покупателей, свежую либерийскую говядину сверхъестественной жесткости, вереницу покосившихся деревянных домиков, окаймлявшую чистый широкий пляж, на который набегал прибой — эти водяные валы спасли Гран-Басу, как и прочие торговые порты Либерии, от пристаней и причалов. Вам предоставлялись на выбор и несколько безобразных церквей; одна из них разбудила меня рано утром какими-то непонятными звуками — по-видимому, записью на патефонной пластинке, повторявшей: «Идите в церковь. Идите в церковь. Идите в церковь».

Эта цивилизация могла похвастаться и деревянным полицейским участком, откуда кучка людей в мундирах с жадностью наблюдала за тем, как во дворе магазина собирались мои носильщики за расчетом. В каком-то смысле я был рад с ними расстаться, но когда управляющий посоветовал им как можно скорее уйти из Гран-Басы, пока полицейские не отняли у них денег, у меня даже сжалось сердце: ведь кончилось то, что вряд ли когда-нибудь повторится. Не думаю, чтобы мне когда-нибудь еще пришлось жить среди людей таких простодушных и неиспорченных: ни один из них не видел прежде так много лавок, не видел моря и грузовика; глаза их горели от восторга и удивления перед чудесами Гран-Басы, а ведь они даже не знали дороги назад, и никто тут не мог им ее показать; когда Ванде предложил идти берегом до Монровии, а оттуда добираться до миссии Святого креста, управляющий предупредил их, что его люди не решаются ходить этой дорогой без оружия. Берег — самое опасное место в Либерии для путешественников, потому что его обитателей коснулась цивилизация, научив их воровать, лгать и убивать.

Один за другим они разошлись, не зная, что им делать, стыдясь своего туземного одяния перед одетыми в брюки жителями Гран-Басы. Они не захотели послушаться совета и побыстрее убраться из города, унося свои деньги: ночью, лежа в постели, я слышал у себя за стеной пьяные крики и пение Ванде и Ама. В Гран-Басе дешева только тростниковая водка, и я чувствовал разницу между их теперешним опьянением и ласковым, сонным хмелем, который дарило пальмовое вино. Это был неочищенный спирт, от которого тут, на Берегу, тяжело мутилась голова.

ДРЯХЛЫЙ МИР

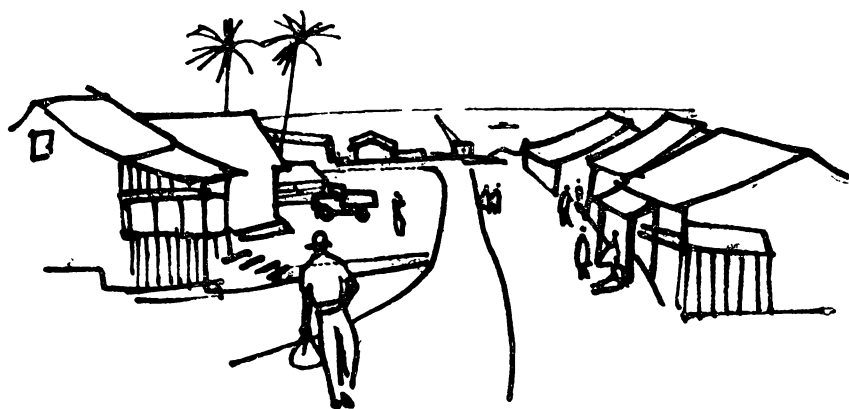
Ну вот я и вернулся, а вернее сказать, приблизился опять к дряхлому миру, из которого было ушел. Мое путешествие если оно ничего другого мне и не дало, то во всяком случае еще больше разочаровало в том, во что человек превратил первобытный мир, что он сделал со своим детством. Ах, ну конечно же, мне не хотелось бы болтовни о том, что ты «прозреваешь», глядя на следы былого величия; но в этом первозданном ужасе, в неприкрытости нужды, ей-богу же, что-то было — в струнах, которые перебирают за стеной хижины, в колдунах, в пригоршне орехов кола, в плясуне и его маске, в ядовитых цветах. Вкусовое восприятие было здесь тоньше, чувство удовольствия острее, чувство ужаса глубже и чище. Много ли мы выиграли от того, что променяли колдуна, ритуальный танец в маске и ощущение сверхъестественного зла на тайные грешки сухопарого, благообразного военного, который в Кенсингтонском парке мутными глазками похотливо разглядывает мальчиков и девочек «подходящего» возраста? А он ведь кончил Итон*. У него поместье в Шотландии...

Мне было слышно, как за стеной полицейский разговаривает с Ванде, и я вдруг вспомнил (хотя и продолжал уверять себя, что мне осточертела Африка) слугу «дьявола» в Зигите, отпугивающего дождь и молнию бичом из слоновой кожи, вспомнил, как опустел и примолк поселок, когда барабаны пробили предупреждение «дьявола». Да, там в дебрях немало жестокости, но мудро

* Аристократическое учебное заведение в Англии.

ли мы поступили, заменив жестокость потустороннюю нашей обыденной жестокостью?

Подошло еще несколько полицейских за своей долей наживы; Ванде и Ама вели в участок. Я вспомнил, как Ванде в темноте уговаривал носильщиков пройти по длинному, качающемуся, дырявому мосту в Дуогобмаи; я вспомнил, что они обошлись без козы, которая должна была обезопасить их от слонов. Да, сейчас коза бы им не помогла. Все мы покинули детство и вернулись в мир взрослых, и я подумал с вызовом: «Вот и слава богу, тут по крайней мере есть пиво со льда и радио, можно послушать программу мюзик-холла из Давентри, и я в конце концов дома, в том смысле, в каком у нас это принято понимать, и скоро я забуду, что такое более тонкое вкусовое восприятие, более острое удовольствие, более глубокое чувство страха, хотя мы и могли бы сохранить их на всю нашу жизнь».



ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ, НАПИСАННОЕ В МОНРОВИИ

ПАРОХОД, БИТКОМ НАБИТЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Мой хозяин рано разбудил меня и сказал, что если я хочу, то еще можно попасть на катер, отходящий утром в Монровию. Правда, он мне советует остаться, но если я не успею на катер, придется, может быть, прождать голландское грузовое судно целую неделю.

Катер вышел в свой первый рейс вдоль побережья от Кейп-Пальмас до Монровии. Он был не больше тридцати футов в длину, но когда я поднялся на него из гребной лодки, мне все равно не удалось пройти от одного его конца до другого, потому что он был битком набит местными политическими деятелями. Их было сто пятьдесят человек, и если бы не хозяин катера, нам с двоюродным братом не дали бы взойти на борт. Все кричали, что и без нас тесно, что мы потопим катер, умоляли капитана

не пускать нас на судно; они были насмерть перепуганы, потому что большинство из них никогда не бывало на море, а предыдущей ночью катер наскочил на скалу возле Сино, и они едва спаслись от верной гибели. С перепуга они накренили судно сначала на один борт, а потом на другой. Но хозяин помог нам подняться на борт и даже нашел место, чтобы поставить для нас стулья,— правда, усевшись, мы уже не могли даже локтем двинуть.

По словам владельца, этот уже далеко не новый катер был куплен за восемнадцать фунтов и отремонтирован еще за двадцать пять. На нем даже не было морских двигателей. Хозяин установил два старых автомобильных мотора — с доджа и со студебекера; и если не считать эпизода у скалы близ Сино, катер вел себя отлично. Мы отошли от желтой песчаной отмели африканского берега, от темно-зеленой опушки леса за крытыми железом домишками Гран-Басы. Капитан (огромный толстый негр из племени кру в широкополой шляпе и майке) стоял в своей тесной стеклянной рубке и по телефону выкрикивал команду в машинное отделение у себя под ногами; солнце бросало слепящие лучи на тент из тонкой японской бумажной ткани; черный методистский священник уснул на моем плече, политики на какое-то время перестали спорить о выборах и начали препираться с капитаном:

— Послушайте, капитан,— жаловались они, говоря чуть-чуть в нос, как истые американские негры,— нечего вам запускать оба мотора. Отойдите сперва подальше, а потом уже пускайте оба мотора.

Капитан поспорил с ними, а потом махнул рукой. Он не мог отдать ни одной команды без того, чтобы пассажиры тут же не вступили с ним в препирательство.

Шестьдесят миль до Монровии катер шел семь с половиной часов, еле-еле переваливаясь с кормы на нос по обжигающей глади африканского моря; в такт ему покачивались сто пятьдесят политических деятелей. Это было судно Оппозиции, и присутствие на борту белого казалось этим политикам исполненным глубокого значения. Прежде чем мы достигли Монровии, каждый из делегатов пришел к твердому убеждению, что их партию поддерживает Англия. В Монровии должен был состояться съезд Объединенной партии истинных вигов для выборов кандидата в президенты, которому предстояло выступить противником президента Барклея. Выборы в Либерии

проводятся по принципу «все дозволено»: уполномоченный правительства в Кейп-Пальмас пытался арестовать владельца катера и задержать его до окончания съезда. Некоторые делегаты поддерживали мистера Купера, другие — бывшего президента Кинга, и хотя все они принадлежали к одной и той же партии, им было о чем поспорить; дискуссии приняли более бурный характер после полудня, когда пассажирам были розданы жестяные миски с тапиокой (в стоимость проезда входило и питание) и бутылки с тростниковой водкой. В полуденную жару водка быстро оказала свое действие: почти сразу же половина из ста пятидесяти делегатов буйно захмелела. Но вести себя соответственно они не могли: стоило им сделать шаг — и катер резко кренился набок; один раз на борту даже поднялась паника: послышался громкий треск, напугавший пассажиров о скале, о которую они стукнулись прошлой ночью. Кто-то попытался вскочить, но остальные заклинали его не трогаться с места; пароходик почти лег бортом на зеркальную воду, а капитан кричал, что закует в кандалы каждого, кто хотя бы шевельнется. Я и не мог шевельнуться: на плече у меня спал методистский священник; постепенно паника улеглась. Мы не наскочили на скалу, просто кто-то спяну свалился со стула и стукнулся головой о палубу.

Хозяин катера мне сказал:

— Видите этих людей? Теперь они тихие, незлобивые, а вот погодите, дайте им только сойти на берег. Чистые кровопийцы! Да они скорее убьют Барклея, чем дадут его выбрать.

Какой-то беззубый старик вдруг сказал:

— А вы знаете, что у них в Монровии есть карта всей Либерии? Я непременно ее посмотрю. Она лежит у Андерсонов — есть там такое семейство. Уже много лет. Все, кто приезжает в Монровию, приходят к Андерсонам посмотреть карту. На ней нарисованы и Сино, и Гран-Баса, и Кейп-Пальмас.

Потом несколько человек пытались поймать меня на слове и заставить признаться, кого я финансирую — мистера Купера или мистера Кинга? В этот день я мог повернуть колесо истории, ибо стоило мне сказать, что я даю деньги мистеру Куперу, как (я в этом уверен) никто бы не стал голосовать за мистера Кинга. А в пятистах футах от нас за каймой из темных голов скользил все

тот же неизменный желтый берег Африки, где не видно было ни следа человека. Кто-то удил с носа катера и с надоедливой постоянством вытаскивал одну рыбину за другой. Может быть, это была одна и та же рыба; может быть, это была одна и та же песчаная отмель, но капитан всякий раз бросал руль и, шагая по ногам пассажиров, отправлялся на нос, чтобы объявить громким, властным тоном (словно приказывал заковать кого-то в цепи): «Рыба!» — а потом заносил это событие в судовой журнал. Гул голосов на мгновение стихал, затем кто-то произносил слова:

— Мистер Купер — ошен молодой шеловек.

— Бывший преш... прешидент мистер Кинг ошен опытный...

Методистский священник не взял в рот ни капли. Он вдруг проснулся и произнес, не поднимая головы с моего плеча:

— Мы в Либерии никогда не будем жить честно, если не пустим к себе на съезды бога. Право выбора надо предоставить богу.

— Да, конечно, — согласился я, — но почему вы знаете, за какого кандидата он будет голосовать?

— Бог создал карандаш, а человек выдумал резинку, — ответил он.

Беззубый старик заметил:

— Мудрые слова.

Священник сказал:

— На съезде нам дадут билетки, и мы должны будем поставить галочку против какой-нибудь фамилии. Но карандаш можно стереть резинкой. Если мы хотим, чтобы бог чего-нибудь добился на этом съезде, мы должны взять карандаш, воткнуть его в одну из фамилий и вырвать ее из бумаги с корнем, тогда, может быть, им не поможет резинка.

К заходу солнца почти все заснули, но сразу же проснулись, как только показался мыс, угрожающий Монровию; на нем стоит немецкое консульство, и прямо над морем тянется длинный белый фасад английского посольства. Перед прибытием в столицу все начали приводить себя в порядок, надели жилеты и галстуки; после новой маленькой паники (проходя над отмелью мы опять легли набок) катер пристал к небольшому причалу, где нас встретила делегация нарядных политических деяте-

лей, махавших руками, выкрикивавших приветствия и взволнованно обнимавших друг друга.

Пока я был в Монровии, я так и не смог расстаться с этими моими спутниками. Каждый день на берегу возле одной из деревянных хижин меня дергал за рукав какой-нибудь обтрепанный тип; отведя в сторонку, он напоминал мне, что мы вместе сюда ехали, и сообщал, как банкиру оппозиционной партии, что он бросил свои дела в Сино или Кейп-Пальмас в полном беспорядке, а жизнь в столице, оказывается, непомерно дорога. Большинство оппозиционеров и на самом деле пришлось отослать домой за счет президента.

МОНРОВИЯ

На первый взгляд Монровия — город куда более приятный, чем Фритаун. Фритаун похож на старый торговый порт, который пришел в упадок; он представляет собой картину полнейшего запустения. Монровия же — это не конец, а начало; правда, начало, которое зашло не очень далеко: две широкие, перекрещивающиеся главные улицы, поросшие травой и сплошь застроенные деревянными одноэтажными домами с разбитыми стеклами, если не считать кирпичных церквей, маленькой кирпичной виллы министра финансов, трехэтажного правительственного здания, где живет президент, министерства иностранных дел напротив и недостроенного каменного дома бывшего президента Кинга. Асфальтированное шоссе «только для автомобилей» ведет к набережной, но в городе очень мало автомобилей и шоссе пользуются пешеходы. Вдоль набережной тянутся лавки, большие, выстроенные из досок магазины английской фирмы П. З., немецких и голландских компаний, где бутылка джина стоит всего девять пенсов, маленькие хижины сирийцев и деревянный сарай почты с расшатанной наружной лестницей. Улица, где стоят жилые дома, поднимается вверх, дальше идут пустыри — выжженные камни и песок, это дорога к английскому посольству и маяку; среди камней видны неоконченные каменные постройки; на одной площадке только выложили фундамент, на другой уже возвели этаж, у недостроенных зданий вид, будто их выжгло огнем.

Строительство домов единственная в Либерии форма капиталовложений, и когда объявили об организации

Либерийского банка с капиталом в один миллион долларов, разделенным на 200 тысяч акций, никто не купил этих акций; еще в 1923 году закон предоставил банку исключительное право выпуска монет и бумажных денег, но Либерия все еще пользуется английской валютой. Единственные местные деньги в обращении — это тяжелые медные пенни. И поэтому, начиная с президента Кинга, все, у кого есть свободные деньги, которые не были вложены в банк Файрстон * (Английский банк покинул Либерию), вкладывают их в строительство, но дома редко достраивают до конца. Фундамент и первый этаж обычно поглощают весь капитал, и лишь иногда, через несколько лет, к этим следам былого безумства, разбросанным по скалистым откосам возле моря, добавляется еще несколько камней.

Да, при желании нетрудно поднять эту черную столицу на смех, но в скученных поселках вдоль берега, в заросших травой улицах, в следах тщетных усилий, оставленных человеком на этих скалистых холмах, есть свой пафос. Разве не вызывают сострадания черные люди, выброшенные без денег и без крова на берег, где свирепствуют малярия и желтая лихорадка, для того, чтобы как-нибудь совладать с этой Африкой, откуда их предки были силою вывезены столетия назад? Никто не скажет, что они многого тут достигли, но меня поражает, что им все же удалось сохранить свою независимость; из стяжательства и нужды родилась любовь к родине.

В прошлом столетии Англия и Франция отняли у них часть земель; Америка поступила еще хуже, предоставив им заем. Не имея никаких источников дохода, кроме того, что можно было выжать из враждебно настроенных жителей девственных областей страны, они вынуждены были все больше и больше влезать в долги. Каждый новый заем едва покрывал прежнюю задолженность, оставляя ничтожную сумму и все возрастающие проценты за кредит. Либерийцы и прежде пытались строить дороги так же, как пытаются делать это сейчас, и, как я сам видел возле Гран-Басы, это строительство не только не движется вперед, но приходит в упадок. Они покупали машины, но у них не было денег, чтобы на них работать, и по пути на каучуковую плантацию встречаешь старые экскава-

* Файрстон компани — крупная американская монополия.

торы, ржавеющие в траве. Меня несколько не удивляет бездеятельность людей в такую изнурительную жару. Помню, как однажды мы ехали на гору Барклей и увидели на дороге грузовик без колеса; рядом догорал костер, в кустах спали люди. До Монровии было всего двадцать миль, но когда я на следующий день ехал к бывшему президенту Кингу, и грузовик, и люди все еще были на том же самом месте, ожидая неизвестно чего.

Нечего удивляться и тому, что они ненавидят белых и не доверяют им. Последний заем и последняя концессия компании Файрстон из Огайо чуть было не лишили страну независимости и не отдали ее на откуп этой фирме, которую в Либерии интересуют только каучук и прибыли. Либерийцев справедливо осуждают за злоупотребление властью в глубине страны, но местные жители вряд ли могут рассчитывать на лучшее обращение со стороны коммерческой фирмы, которая не считается даже с мировым общественным мнением. Предоставление этой фирме в обмен на заем концессии на обработку миллиона акров либерийской земли сроком на девяносто девять лет было операцией незаконной. В 1935 году было обработано только шестьдесят тысяч акров — сорок пять тысяч возле Монровии и пятнадцать тысяч у Кейп-Пальмас, — и концессия по-прежнему мешает всякому развитию страны.

Видимо, предполагалось, что фирма Файрстон принесет в страну не только деньги — она даст людям работу и оживит торговлю. В тот год, когда я был в Либерии, фирма нанимала 6000 рабочих, которых поставляли ей местные вожди. Никто толком не мог сказать, работают эти люди добровольно или по принуждению, но если нужно будет возделывать миллион акров и соответственно увеличить количество рабочих рук, охотников трудиться на плантациях явно не хватит; разница же между обычной формой принудительного труда в Африке, который хотя бы предполагает, что человек трудится на благо общества, и принудительным трудом на благо держателей акций очень велика.

Оплата рабочих на плантациях компании Файрстон — хотя она все же выше тех ставок, которые английское правительство установило в Сьерра-Леоне, не может принести благосостояния либерийским племенам. Заработок тех, кто надрезывает кору каучуковых деревьев, со-

ставляет от восьми до тринадцати пенсов в день, сборщиков сока — от семи пенсов до шиллинга. На эти деньги они должны покупать себе пищу, что однако, нисколько не оживляет местную торговлю, ибо они обязаны покупать продукты в лавках фирмы Файрстон, которая ввозит свой рис и продает его дороже, чем торгуют в Монровии, на полтора шиллинга за центнер, а цены в Монровии и так гораздо выше, чем в остальной Либерии.

Стоит ли удивляться, что и либерийское законодательство прежде рассматривало белых только как объект вымогательства и проявляло тут немалую изобретательность? Одно время главной жертвой оказался немецкий пароходный агент. Его шофер задавил собаку, и на следующий день агента арестовали по иску хозяина собаки. Обвиняемого привели в суд, где владелец собаки показал, что в прошлом году его сука, которую он оценивал в десять долларов, принесла пятерых щенят, которые дали по десять долларов каждый; через неделю или две сука принесла бы еще пять щенков, которые были бы проданы по той же цене. Суд оштрафовал немца на шестьдесят долларов.

В другой раз того же агента полиция ночью вытащила из постели по иску об убытках, причиненных либерийской женщине, ехавшей на итальянском судне, на которое продавало билеты немецкое пароходство. Женщину поцарапала обезьяна, принадлежавшая другой пассажирке, в то время, когда пароход находился в испанских территориальных водах. Доктор смазал царапину йодом, и ничего дурного не произошло, но женщина написала об этом происшествии своему мужу, и он предъявил иск единственному лицу, которое было достижимо, — немецкому агенту. Суд присудил его к уплате 30 тысяч долларов в возмещение убытков. Так как дело явно зашло слишком далеко, представители Англии, Франции и Германии заявили протест, и Верховный суд решил, что это дело не подсудно либерийским органам.

ССЫЛКИ

Странную жизнь ведут немногочисленные белые в этой небогатой столице. Не считая служащих фирмы Файрстон, которые живут за городом, на плантации, и пользуются всеми благами европейского комфорта, в

Монровии не больше сорока белых: поляки, немцы, голландцы, американцы, итальянцы, один венгр, французы и англичане. Двое из них врачи, остальные — лавочники, скупщики краденого золота, пароходные агенты и консулы. В посольствах условия жизни еще сносные, и хотя во всей Монровии не существует такой вещи, как ватерклозет, почти у всех есть ледник, потому что в этом убогом городке человеку остается только пить, пить и дожидаться почтового парохода, приходящего дважды в месяц, который может привезти мороженое мясо, но очень редко доставляет пассажиров.

Эти люди куда больше похожи на ссыльных, чем англичане во Фритауне; у них меньше удобств и куда меньше развлечений; в городе нет площадки для гольфа, а прибой превращает купание в слишком опасную авантюру. Раз в неделю в английском посольстве играют в теннис или на бильярде, и еще раз в неделю на территории того же английского посольства люди постарше стреляют из пистолета в бутылки. Забава эта длится уже много лет; ее затевают после обеда в субботу и прекращают, когда становится слишком темно, чтобы видеть цель. Такая отъединенность имеет свое преимущество: она уничтожает снобизм. Поверенный в делах и приказчик, жена генерального консула и жена лавочника равны в Монровии. Это демократизм людей, потерпевших кораблекрушение и выброшенных на необитаемый остров; несмотря на скандалы, маленькие коммерческие и дипломатические интриги и малярию — неизменную малярию! — заезжему человеку отношения этих людей кажутся гораздо более человечными и компанейскими, чем в любой заморской колонии англичан. Я пробыл в Монровии всего десять дней в самое здоровое время года, но и то за время моего пребывания восемь человек из этой крохотной колонии белых стали жертвами лихорадки.

Нечего удивляться, что тут пьют без передышки, с утра — пиво за завтраком друг у друга, а кончают виски в четыре часа ночи. Но самое противное — это мятный ликер со льдом. Его подают здесь, не спрашивая, хотите вы или нет, повсюду — после обеда и после ужина; вас сочли бы чудачком, если бы вы отказались от этого сладкого, тошнотворного пойла. Точно так же все были бы удивлены, не пришлось вам по вкусу на заходе солнца или вечером крепкий липкий токай или венгерское, кото-

рые подают у доктора. А у вас от влажной жары беспрестанно потеют ладони рук и подмышки. У этих «ссылных» есть все основания пить; трудно читать в таком климате, тут ведь даже книги покрываются плесенью; трудно обманывать себя, уверяя, что находитесь здесь ради чьего-нибудь блага или потому, что вам надо править «туземцами» — последние правят вами, и если взять хотя бы здешних министров, они выгодно отличаются от вас трезвостью и деловитостью; трудно стать бабником, ибо возможности ваши обидно ограничены; играть тут не во что; не бывает и приезжих, приносящих сплетни из родных краев; честолобию тут тоже негде разыграться — ведь Либерия уж совсем заштатное место как для дипломата, так и для торговца. Остается пить или слушать радио, а пить все-таки веселее.

Несмотря на это, у всех англичан есть радиоприемник: ровно в шесть они включают его и слушают программу из Давентри, но даже это унылое развлечение им едва-едва доступно: Западный Берег губит любой приемник. И вторя выпивке и беседе, чихают, стонут и свистят могучие приемники до одиннадцати часов вечера. Этот пронзительный шум, доносящийся через Атлантику, все-таки дает им ощущение связи с родиной. Ну а к одиннадцати часам все уже так пьяны, что перестают о ней тосковать.

Что же касается интриг, которые хоть как-то разнообразят удушливо жаркие дни, пропитанные влагой, и заставляют хоть немножко расшевелиться, почувствовать, что ты чего-то стоишь, — я был свидетелем двух из них. В Монровию прибыл некий джентльмен, широко известный в финансовых кругах; он хотел получить для крупного английского треста концессию на монопольную добычу золота и ценных минералов в глубине страны и разогнать всех одиночек-старателей вроде Ван-Гога. Мне об этом рассказывали еще в Бо. Приехал он в удачное время, за два месяца до президентских выборов, когда всем позарез нужны были деньги, и был готов истратить тридцать тысяч фунтов на то, чтобы сварганить это дело побыстрее. Единственная опасность заключалась в том, чтобы не поставить на неверную лошадку, но во время либерийских выборов риск невелик: сейчас, например, никто всерьез не сомневался, что президентом останется мистер Барклей. К несчастью, через несколько дней

после приезда финансист заболел, так и не успев по-
видать президента, и никто не мог разубедить либерий-
ских министров в том, что это хитрый ход, рассчитанный
на то, чтобы сбить цену на концессию. Они были олице-
творением ледяной вежливости, но явно желали показать,
что тоже своего не упустят.

Другая интрига носила дипломатический характер и
касалась королевского юбилея в Англии *. Министр ино-
странных дел долго уговаривал английского поверенного
в делах сходить в церковь и послушать проповедь
министра просвещения. В этом не было никакой полити-
ческой подкладки — просто министр иностранных дел
был серьезный молодой человек, лишенный всякого чув-
ства юмора, он полагал, что всякому полезно сходить в
церковь, а служба в здешней церкви мало чем отличается
от англиканской. Но его воспитательный пыл дал возмож-
ность английскому поверенному в делах произвести дип-
ломатическую акцию. Он заявил министру, что не только
сам прибудет в церковь, но и приведет всех английских
подданных, а может быть и представителей других ино-
странных держав, если в это воскресение министр про-
свещения упомянет в своей проповеди королевский юби-
лей. Я думаю, что министр иностранных дел был не-
сколько озадачен; он сказал, что должен посоветоваться
с министром просвещения, но — увы! — мне пришлось
уехать из Монровии, так и не узнав, была ли заключена
эта сделка.

Стоит ли удивляться, что самые темпераментные пред-
ставители этой интернациональной колонии жаждут
более бурной жизни. Они живут на самом краю страны,
ни один из них не отважился вступить в нее глубже чем
на несколько десятков миль; у них самые убогие и оши-
бочные представления о местных племенах; правда, пра-
вительство отнюдь не одобрило бы ни более продолжи-
тельных путешествий по стране, ни более глубокого
знакомства с ней. Был ведь такой случай, хотя и много
лет назад, когда английский посланник поднял в Мон-
ровии флаг Великобритании, пытаясь воссоздать в миниа-
юре мятеж в Йоганнесбурге, но результаты были
такие же плачевные, как и последствия налета Джейм-
сона **. Я не думаю, чтобы владельцев магазинов или

* Празднества по случаю 25-летия царствования короля Георга V.

** Джеймсон Леандр Стар (1853—1917) — сподвижник Сесилия

иностранных представителей в Монровии обуревали империалистические инстинкты, нет у них и особых причин жаловаться на местное правительство. Тут куда меньше проявляется расовая неприязнь по отношению к белым, чем в большинстве европейских колоний по отношению к черным, и, по-моему, всякий беспристрастный наблюдатель поразился бы умеренности черных правителей. Все тяготы, которые приходится переносить здесь белым, разделяют с ними и местные жители: отсутствие канализации, медицинской помощи, связи.

Незадолго до моего приезда постоянное нервное напряжение вылилось в открытую вспышку. Шофер французского консула совершил какой-то проступок, и невежественный полицейский, не посвященный в тонкости дипломатической неприкосновенности, ворвался в консульство вслед за шофером, чтобы его задержать. Консул выбросил полицейского за дверь, надел дипломатический мундир и отправился в здание министерства иностранных дел, чтобы потребовать у министра формальных извинений. Молодой серьезный министр Симпсон готов был извиниться сам, но отказался принести извинения от имени правительства. Вся эта история была бы просто комедией, если бы в ней не проглядывало нечто трагическое: она показала, до какой глупости, до какого нервного возбуждения доводят влажная тропическая жара, ничем не скрашенная ссылка, стрельба по бутылкам в субботу вечером и свистящие радиоприемники. Французский консул отправился на гору, где стоит радиостанция, которой владеет французская фирма, и послал радиogramму французскому эсминцу — было известно, что тот как раз проходил в это время мимо либерийского побережья. Эсминец стал на якорь недалеко от Монровии, капитан прибыл в шлюпке на берег, и двое важных, наряженных в мундиры французов снова появились в кабинете у мистера Симпсона. Капитан положил свою шпату ему на письменный стол и заявил, что она останется там, пока консулу не будут принесены извинения правительством. Извинение было получено, эсминец развел

Родса, управляющий английской Южноафриканской компанией в Родезии. С 600 солдатами при поддержке недовольных иностранных поселенцев произвел в 1895 г. налет на Трансвааль, пытаясь присоединить всю Южную Африку к Британской империи. Был пойман бурами и отдан в Англию под суд за самоуправство.

пары и ушел. Какая судьба постигла полицейского, я не знаю.

Вдалеке от этой нервной и тоскливой, но в общем безобидной жизни, на расстоянии нескольких часов тряской езды от столицы, живут служащие фирмы Файрстон. Они живут в домах с ваннами, душем, водопроводом и электричеством; у них своя радиостанция, теннисные корты, бассейн для плавания и новенькая, чистенькая больница; все это находится посреди каучуковой плантации, где весь день пахнет соком, который каплет в чашечки, подвязанные к стволам. Вот они — куда больше, чем англичане или французы, — официально признанные враги, и самые дикие рассказы о порке рабочих, контрабандной торговле оружием или сожженных деревнях, распространяемые по их адресу, легко принимаются на веру либерийцами обеих партий.

ПОЛИТИКИ

Когда мы приехали в Монровию, избирательная кампания была уже в разгаре; деятели, которые обнимались на пристани, проявляли лишь первые признаки того волнения, которое потом овладело всеми. Странное дело, но предвыборная кампания в Либерии, которая длится более двух месяцев (если, конечно, на это хватает денег), принимается всеми всерьез, хотя все предопределено заранее — и результаты голосования, и речи, и лозунги. Правительство печатает избирательные бюллетени; правительство владеет обеими газетами; правительство охраняет с помощью полиции избирательные пункты, но никто не считает, что правительство непременно победит или — если настала очередь победить оппозиции, — что победит оппозиция. Станные иллюзии по этому поводу питают даже иностранные представители. За зваными обедами ведется взволнованная беседа о выборах; люди готовы держать пари о том, какой кандидат будет избран, однако иллюзии, разумеется, не настолько сильны, чтобы кто-нибудь решился рискнуть деньгами. Быть может, американцу, привыкшему к выборам в своем штате, вся эта обстановка не кажется такой удивительной.

Но перед этими выборами и на самом деле возникла маленькая неуверенность, хотя бы потому, что сам президент относился к ним так серьезно и вместо того, чтобы

уйти в отставку, намеревался при помощи плебисцита удержать свой пост дольше, чем на положенных три срока. Ходили слухи, что в кабинете министров финансов раскол, что там хотят избавиться от министра финансов Габриэля Денниса, который проявил себя примерным стражем государственной казны. Необычно было и то, что противником президента был бывший президент, доказавший свою ловкость во всяких политических махинациях. (Много лет подряд официальным противником президента был мистер Фолкнер — глава Народной партии и владелец завода по производству искусственного льда в Монровии, у которого не хватало опыта для тонких политических махинаций. Бывший президент Кинг одержал победу в первом раунде; когда мистер Фолкнер решился выйти из игры и его сторонники присоединились к Объединенной партии истинных вигов, известной здесь под названием Отколовшихся вигов, несколько членов Народной партии успели созвать съезд и утвердить своим кандидатом мистера Кинга. А так как мистер Кинг был выдвинут и Объединенной партией истинных вигов, он, по либерийским законам, получил право иметь по представителю от обеих партий на каждом избирательном участке, в то время как правительство имело там только по одному представителю, что играло немаловажную роль.)

Из всего этого явствует, что политическая жизнь в Либерии дело сложное. И даже продажность, как ни странно, ничуть ее не упрощает. Может быть, в конце концов все дело и сводится к чистогану, к продажной прессе и вооруженной силе, но при всем том приходится соблюдать приличия. Рекомендовалось избегать открытого насилия. К примеру, мистер Кинг не мог быть единственным кандидатом на съезде Объединенной партии истинных вигов; несмотря на излишние расходы, на съезд пришлось пригласить и сторонников мистера Купера, хотя заранее было известно, что выдвинут будет мистер Кинг. Утром того дня, когда открывался съезд, я получил его повестку, выпущенную учредительным комитетом за подписью генерального секретаря мистера Дугба Кармо Каранда и утвержденную председателем Абайоми Карнга (эти имена свидетельствовали о том, что политика партии вигов выражается девизом: «Либерия для либерийцев!», и все ее члены старались поскорее

принять африканские имена в отличие от всяких Данбаров, Барклеев, Симпсонов и Деннисов, сидевших в правительстве). Съезд, как я прочел, должен был завершиться демонстрацией возле дома выдвинутого партией кандидата в президенты, но маршрут был хитроумно намечен заранее: демонстранты должны были пройти мимо Массонского дома, по Бруд-стрит и по Фронт-стрит «к резиденции кандидата». Но на Фронт-стрит стоял дом мистера Кинга, а совсем не мистера Купера, так что даже в повестке дня результаты были уже предreshены, и волноваться не было никаких оснований. Несколько досадно было то, что большинство делегатов не прибыло на съезд, потому что второму катеру повезло меньше, чем нашему, и он сел на мель недалеко от Монровии. Съезд должен был открыться молебном в 2. 30, но когда мы приехали в 3. 30, там еще дожидались севших на мель делегатов. Зато потом все пошло даже слишком быстро, ибо, когда мы вернулись в пять часов, съезд был уже закрыт. Духовой оркестр пытался выбраться со двора и возглавить демонстрацию, но толпа была слишком велика, а тут еще наша посольская машина загородила дорогу. Несколько делегатов попробовали было несмело освистать флажок у нас на капоте, и какой-то толстый потный негр сунул лицо в окно машины и с яростью сказал, что мы, видно, не знаем, какое важное событие сейчас происходит в городе. Кругом стоял запах тростниковой водки, и некоторые жители так напились, что могли кинуть в нас камнем.

Тем временем президент Барклей устроил у своей резиденции настоящее представление: танцоры племен кру из портовых трущоб носились перед правительственным зданием, размахивая ножами. В своих украшенных перьями головных уборах они были похожи на краснокожих индейцев; красочное зрелище привлекло множество зрителей. Позднее, когда рев труб оповестил Монровию, что шествие оппозиции двинулось в путь, возле правительственных учреждений наспех организовали контрдемонстрацию с огромными знаменами, на которых было начертано: «Барклей — герой Либерии» и загадочный лозунг: «Кинга мы не хотим. Мы не хотим автомобиля. Мы не хотим денег за наши голоса. Барклей — вот это человек». Сначала я не сомневался, что процессии неминуемо столкнутся в крошечной Монровии, но я недооце-

нивал ловкость их жожаков. Хотя к этому времени они уже перепились, как и все остальные, у них все же хватило соображения не затевать драки. Танцоры и их приятели хлынули в правительственное здание, где их бесплатно пойли к великому возмущению сторонников президента из партии вигов, не получивших от диктатора ничего, кроме благодарности, которую он выразил им с балкона по поводу официального выдвижения его кандидатуры.

Демонстранты оппозиции вломились в это время в палисадник перед домом мистера Кинга — деревянным домом на Фронт-стрит, а не большим, недостроенным каменным дворцом на Броуд-стрит. Уже совсем стемнело, но несколько керосиновых ламп бросало изнутри бледный свет и отражалось в зрачках толпы. Мистер Кинг, хотя и был болен, произнес с балкона несколько слов, но кругом стояло море разливанное и разносился такой крик, что расслышать можно было только обрывки фраз, вроде: «Национальная независимость», «Дружеская рука», «Ведущее место среди народов». Голос был усталый и невыразительный; я подумал, что от всего этого спектакля, наверно, совсем невесело главному исполнителю, который, не питая никаких надежд, обязан сыграть свою роль до конца. Никто лучше мистера Кинга не знал, что президента побеждают отнюдь не голосованием.

Через несколько дней после этого я посетил мистера Кинга на его ферме в окрестностях Монровии. В поношенном синем шкиперском картузе на затылке и с сигарой в зубах он отлично изображал отставного государственного деятеля из простонародья. Видно было, что он совсем болен. Мы выпили с ним немало джина, пока он повторил мне несколько раз повесть о своем падении. Обеспечил он свою старость неплохо: мистер Кинг владел небольшой каучуковой плантацией, которую собирался продать фирме Файрстон, и двумя с половиной домами. Но у него не оставалось никакой надежды на возвращение к власти. Он не скрывал, что если его изберут, он согласен принять план Лиги наций о помощи, передать управление финансами европейским консультантам, назначить окружными комиссарами белых и лишить страну какой бы то ни было независимости; однако он отлично понимал, что его не изберут. Все толки о финансовой помощи со стороны компании Файрстон, все его речи не

стоили ничего. Он просто уступал обычаю, но было видно, что больше всего ему хочется поскорее лечь в постель. У него было что вспомнить — больше, чем у любого другого президента Либерии: банкеты в Сьерра-Леоне, королевский салют с эсминца в гавани, прием в Букингемском дворце, рулетку в Монте-Карло... Я его сфотографировал: он стоял у себя на крыльце, обняв за плечи хорошенькую жену, — черный Цинциннат, вернувшийся в свое имение.

МИНИСТР

Министр финансов был порождением новой, гораздо более щепетильной Либерии, которая только рождалась на свет. Он тоже побывал в Женеве и в Соединенных Штатах. Пухлый хорошо одетый человек с мягкими грустными глазами за стеклами очков, он обладал чувством собственного достоинства, не свойственным креолу где-нибудь в английской колонии. Тут не было чиновников, которые могли над ним посмеяться, он смеялся над собой сам, мягко, деликатно, смеялся над тем, что он честен, что его интересуют совсем другие вещи, а не политиканство, что он упускает столько возможностей нагреть руки в нечистой игре. Мистер Кинг построил себе дома и купил каучуковую плантацию; все, что сумел приобрести министр финансов, — это быстроходный катерок, на котором он любил кататься по дельте Сент-Пола среди поросших мангровыми деревьями болот.

Жил он холостяком в небольшом кирпичном домике на зеленой Броуд-стрит; и когда он угощал нас чаем, его подавали молодые чиновники из министерства финансов. Министр нарядился для этого случая (он собирался помузицировать) в рубашку с отложным воротничком, повязанную пышным артистическим галстуком. Напоминал он чернокожего мистера Пиквика, чуть-чуть смахивавшего на Шелли. После чая мы перешли в музыкальную комнату — небольшой, заставленный вещами зал с семейными портретами на стенах, гипсовой Венерой Милосской, уродливыми статуэтками из раскрашенной глины, изображавшими тирольских юношей в чувствительных позах, и керосиновыми лампами на высоких безвкусных подставках. Он сыграл нам несколько песен, сочиненных президентом; пианино, как и следовало

ожидать в этом климате, было расстроено. Песни были громкие, неудобные для дыхания, слова были тоже написаны президентом, они были полны романтической любви и набожности: «Ave Maria» и «Я послал моей любимой алую-алуую розу, а она в ответ прислала мне белую-белую». Потом он сыграл аранжированный президентом романс «Я восстал от снов о тебе». Друг его, президент, с грустью сказал нам министр, вертясь на стульчике возле пианино, когда-то писал много стихов и музыки, а теперь...— министр финансов тяжело вздохнул над участью человека, которого засасывает политика. Он сказал:

— Может быть, вы знаете эту песню.

И пока молодые люди из министерства зажигали керосиновые лампы и поворачивали абажуры так, чтобы свет выгодно падал на тирольских мальчиков, ласкающих собак или слушающих сказку на коленях у матери, он запел: «Что б ни случилось, запомню я тот горный склон, от солнца золотой».

Все это отдавало красотой самого низкого пошиба, но стремление к красоте было искренним. И чем он виноват, что лучшей пищи для этого чувствительного, нежного сердца нельзя было найти на либерийском побережье? Музыка мистера Эдвина Барклея, гипсовые бюсты, «Дева гор», керосиновые лампы, сентиментальная песенка под названием «Деревья» и патриотические стихи президента, которые министр сейчас декламировал, барабаны на пианино,— «Звезда одинокая навек».

Когда на зеленых холмах Монтсеррадо
Увидели Вольности лик золотой,
Она еще в тени мелькала ночью —
Средь грозного неба, средь грома и града —
Звезда Свободы.

У раннего утра она заняла
Доспех его светлый, огнем позлащенный,
Народ угнетенный и поработанный
Высоким призваньем своим повела
К высокой судьбе*.

Песня была несколько не хуже большинства патриотических сочинений, которые мы слышим у нас, в странах старой культуры. На чужеземца, приехавшего сюда из европейской колонии, Монровия и Либерийский берег

* Перевод Б. Слуцкого.

должны произвести глубокое впечатление. Он найдет здесь редкую простоту и подлинное воодушевление, чего не встретишь в таких гнилых местах, как Сьерра-Леоне; брошенные без всякой помощи на эту малярийную полосу земли, люди выстояли; если они даже и принесли с собой продажность американского политиканства, они все же пробудили в народе искреннюю любовь к родине и даже слабые зачатки культуры. Ей-богу же, совсем неплохо иметь президента, который пишет стихи, хотя бы и плохие, и музыку, пусть пошловатую. Мне было трудно отнестись терпимо к его творчеству, потому что я пришел сюда из глубины страны, где я видел куда больше естественности, где жила более старая, подлинная культура, где сохранились традиции честности и гостеприимства. Пройдя больше трехсот миль по густым безлюдным зарослям, через деревушки, где горел общинный очаг, носили тяжелые серебряные браслеты на щиколотках, а «дьявол» в страшной маске плясал между хижинами, мне труднее было восхищаться этой приморской цивилизацией. Мне казалось, что люди тут, почти так же, как и я сам, утратили связь с истоками жизни. Но они в этом не виноваты. Двести лет американского рабства разлучили их с Африкой, дав им взамен политиканство, один колледж и желтую прессу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я раздумывал об этом, отправляясь на торговое судно, которое по радио попросили зайти в Монровию, чтобы взять на борт пассажиров, вспоминал и о детях в католической школе, бубнивших слова национального гимна:

Ура, Либерия, ура!

Ура, Либерия, ура!

Навсегда свобода нашим краем завладела.

Наша слава молода, юны наши города,

Нашей мощи — нет зато предела.

Но, плывя в шлюпке к пароходу на рейде, я сознавал, насколько люди здесь ближе к чистоте первобытной жизни, несмотря на тоненькую прослойку белой цивилизации, которая отделяет этот мир от другого — от мира паровой трубы, сирены, нетерпеливо призывавшей нас поскорее подняться на судно, капитана на мостике, следившего за нами в бинокль. Перводанное тут — у них

за спиной, от него не отделяют века. Если здешние люди и пошли по неверной дороге, возвращаться им недалеко, да и то в пространстве, а не во времени. Маленькая пристань толчками уходила назад, перед глазами открылась река; серебристые ветви мангровых деревьев торчали по берегам, как прутья ободранных зонтиков. В двухстах пятидесяти милях вверх по этой реке еще существует то самое место, тот самый кишаший красными муравьями пенёк, на котором я дожидался своих спутников, когда они заблудились. Недостроенная таможня, нищета прибрежных кварталов, залитая асфальтом дорога и зеленая Брод-стрит — все это уходило вдаль с каждым взмахом весла, но одновременно уходил и тот мир, к которому принадлежали прилепившиеся друг к другу хижины в Дуогобмаи, слуга «дьявола», бичом отгоняющий грозу, старуха, насылавшая молнии, — помню, как она плелась в свою тюрьму, обмотав веревку вокруг пояса. Все это оставалось там, за белой полоской отмели, куда не мог зайти ни один европейский корабль.

А я-то думал, из последних сил пробираясь в Гран-Басу, что буду счастлив, вернувшись в мой мир. Нос лодки ударился об отмель и поднялся из воды, под нами прокатилась волна и разбилась на прибрежном песке, за ней пошла другая, рассыпалась брызгами за нами, обожгла щеки, обмыла доски нашей плоскодонки, и вот мы уже вышли на рейд, поглядывая назад — на отмель и на Африку за ней. Ну, конечно же, я счастлив, говорил я себе, отворяя дверь ванной, разглядывая настоящий ватерклозет, изучая меню за обедом, между тем как за стеклом иллюминатора уходил вдаль Кейп-Моунт, уходила вдаль Либерия — единственное место в Африке, не считая Абиссинии, где не властвует белый человек. Ну вот я болел, долго жил во власти страха, а теперь я снова здоров и снова вернулся в тот мир, к которому принадлежу.

Но что поразило меня в Африке, так это то, что она ни секунды не казалась мне чужой. Гибралтар и Танжер — эти протянутые друг к другу и только что разомкнувшиеся руки — теперь больше, чем когда бы то ни было, символизируют противоестественный разрыв. «Душа черного мира» близка нам всем. Ведь всегда была потребность вернуться назад и начать сначала. Ее испытывали и Мунго Парк, и Ливингстон, и Стенли, и Рембо, и

Конрад. Писатели Рембо и Конрад сознавали, чего они ищут, а вот исследователи вряд ли понимали, какая магия полонила их и приковала к Африке, несмотря на грязь, болезни и варварство.

Капитан перегнулся через борт и стал жаловаться на свою команду, старый брюзгливый человек:

— Да, если испечь весь этот чертов сброд в паровой топке, и то не получится хотя бы один настоящий моряк,— ворчал он, вспоминая о прошлом, о веке парусных кораблей.

Во Фритауне на борт приехали гости, и мы с ними выпили, прощаясь с Африкой. В курительной ко мне подошел какой-то морской офицер и злобно на меня, поглядел.

— Я верну мой билет министерству, милейший. Этим мерзавцам... Пусть подавятся. Слышите, милейший?..

Капитан сунул два пальца в рот, скоро стал трезв как стеклышко, и пароход вышел из гавани, вышел из Африки. Но что-то всех мучило, какая-то пуповина привязывала всех к этому берегу.

Это не значит, что я хотел бы остаться в Африке навсегда: меня не тянет к бездумной чувственности, даже если она там и есть; но когда ты понял, каково было начало всех начал — его ужасы и его безмятежность, его силу и его нежность,— тебя еще больше мучает сожаление о том, что мы натворили с собой...

После горячего, слепящего солнца на песчаной отмели, после стремительной атлантической волны нас встретили огни Дувра, горевшие, хотя уже было четыре часа утра, нас встретил холодный апрельский туман, который мы вдыхали вместе с дымом из топок. Недалеко от гавани в каком-то жилье надрывался ребенок, он плакал потому, что был слишком мал и не мог ничего сказать, потому что был слишком мал и еще не знал, сколько похоти и жестокости может прятаться в темноте, он плакал без особой причины, просто потому, что в душе его жил страх предков перед этой темнотой, просто потому, что во сне его плясал «дьявол». Вот и все, что я с собой привез, говорил я себе в холодном пустом сарае таможни, глядя на свои чемоданы, на несколько серебряных украшений, обрывок рукописи, найденной в деревне племени баса, и старый меч. Вот и весь путь, который надо пройти назад, в Африку: назад к невинности, к девственной чистоте, к могилам, которые еще не осквернены поисками золота.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
В. Маевский. Преображение Африки	5

Часть первая

<i>Глава первая.</i> Путь в Африку	13
<i>Глава вторая.</i> Торговое судно	20
<i>Глава третья.</i> Дома, хоть и вдали от дома	30

Часть вторая

<i>Глава первая.</i> Западная Либерия	61
<i>Глава вторая.</i> Его превосходительство господин президент	83
<i>Глава третья.</i> На земле племени бузи	111
<i>Глава четвертая.</i> Черный Монпарнас	130

Часть третья

<i>Глава первая.</i> Миссия	152
<i>Глава вторая.</i> «Цивилизованный человек»	165
<i>Глава третья.</i> Диктатор Гран-Басы	182
<i>Глава четвертая.</i> Последний этап	195
<i>Глава пятая.</i> Послесловие, написанное в Монровии	211

Грэм Грин

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ КАРТЫ

Редакторы *С. Н. Кумкес, Ф. П. Протасов*
Младший редактор *Г. П. Зоркина*
Художественный редактор *С. С. Верховский*
Технический редактор *Э. Н. Виленская*
Корректор *П. И. Чивикина*

Т-06186. Сдано в производство 1/II—60 г. Подписано в печать 26/1—61 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Печатных листов 7,25. Условных листов 11,89.
Издательских листов 12,23. Тираж 115 000. Заказ № 1316.
Цена 37 коп. Переплет 15 коп.

Москва, В-71, Ленинский проспект, 15, Географгиз.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

52 коп.

ГЕОГРАФИЗ



ГРЭМ
ГРИН

ПУТЕШЕСТВИЕ
БЕЗ
КАРТЫ

